

Виктор Бирюков

Две повести о войне

16+

Виктор Бирюков
Две повести о войне

«ЛитРес: Самиздат»

2015

Бирюков В.

Две повести о войне / В. Бирюков — «ЛитРес: Самиздат», 2015

В повести «Шутка гауптмана Лутца» рассказывается, как в июле 1941 года жена командира Красной Армии с грудным ребенком из города Барановичи (Белоруссия) добирается по территории, занятой немцами, до Москвы. Это было хождение по мукам. По дороге было все: и слезы, и смех, и беззаветная любовь к малышу. В повести «Лето 1941 года: во сне и наяву» группировка Красной армии оказывается в окружении. На ее примере исследуются причины крупных поражений СССР в начале войны.

Содержание

От издательства	5
Шутка гауптмана Лутца	6
Визит к коменданту	7
С ветерком на восток	20
Подальше от дорог	27
С глиной – против танков	42
На нейтральной полосе цветы – необычайной красоты	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

От издательства

В этой книге Виктора Бирюкова читателю предлагаются две повести о войне – Великой Отечественной.

В повести "Шутка гауптмана Лутца" жена старшего лейтенанта Красной Армии Мария Петрова, 20 лет, обратилась к коменданту г. Барановичи (Белоруссия) с просьбой дать ей письменное разрешение покинуть нынешнее место пребывания с целью добраться до Москвы – через оккупированную немцами территорию. Мотив такого рискованного путешествия – после ухода мужа на фронт она осталась одна в незнакомом городе, без средств существования, с грудным двухмесячным ребенком. Да, она может погибнуть по дороге, но здесь, в Барановичах, ее тоже ждет смерть от голода. А на пути к Москве, где живет ее мать, ей может и повезти. Комендант Лутц, пораженный безрассудством молодой матери, дает ей необходимые документы и в шутку заявляет, что, если она дойдет до Москвы быстрее войск вермахта, то он съест портянки своего денщика. И далее в повести описываются хождения по мукам Маши. По пути на восток встречаются всё: и смех, и горе, и любовь – беззаветная родительская любовь к своему малышу. Дошла ли Петрова до Москвы по военным дорогам, заполненным наступающими немцами? Об этом вы узнаете, если прочтете повесть.

В повести "Лето 1941 года: во сне и наяву" другая история – тоже трагикомичная. Крупная группировка Красной Армии оказывается в окружении. На ее примере исследуются причины катастрофических поражений советских войск в начале Великой Отечественной войны и истоки будущих побед СССР. В этом произведении без прикрас называются вещи своими именами, книга служит предупреждением будущим политикам России о бесперспективности возможных грядущих завоевательных войн.

Шутка гауптмана Лутца

Повесть

В июле 1941 года военный комендант г. Барановичи, что в Белоруссии, гауптман Курт Лутц выдал следующую справку. «Я, военный комендант г. Барановичи гауптман Лутц, разрешаю жене старшего лейтенанта Красной Армии Марии Петровой, 20 лет, вместе с ее двухмесячным сыном покинуть г. Барановичи в направлении на восток с целью добраться до г. Москвы, где живут ее родители. Я обращаюсь ко всем германским частям, которые встретятся на пути следования фрау Петровой, оказывать ей всяческое содействие в продвижении ее в сторону столицы России. Такая просьба вызвана тем, что жена красного командира всерьез убеждена, будто доберется до своей мамы быстрее, чем доблестные войска вермахта захватят Москву. Но я ей поставил условие: если мы, немцы, возьмем большевистское логово раньше, чем она придет в свой родной город, фрау обязана будет публично поцеловать взасос германского коменданта Кремля, независимо от его возраста, чина и внешности, с его, разумеется, разрешения. Если же она опередит немецкие части, то есть раньше нас появится в столице России (что можно допускать теоретически), то я, Курт Лутц, германский офицер, обещаю съесть обе портянки моего адъютанта Франца. В связи с вышеизложенным еще раз прошу всех солдат и командиров частей вермахта, в расположении которых окажется указанная молодая мать с грудным ребенком, не препятствовать и даже по возможности помогать ей двигаться вперед. Иначе говоря, обеспечить честное соревнование на пути продвижения в Москву: ее – к своим родителям, а победоносных германских войск – для захвата сердца России. Хайль Гитлер!»

Визит к коменданту

Решение обратиться в военную комендатуру с просьбой получить разрешение на выезд пришло не сразу. Вообще появление немцев в Барановичах было совершенно неожиданным. Война только началась, а они уже захватили город. Новая власть повсюду расклеила устрашающие объявления: то нельзя, это запрещено, за нарушения расстрел. То, что фашисты слов на ветер не бросают, подтверждалось ежедневно: одних расстреливали, других вешали, а евреев, всех евреев, обнаруженных в Барановичах, вывезли и убили. И на весь этот всеобщий ужас у многих накладывалось свое личное горе: гибель близких людей, полная неизвестность о тех, кто находился в армии, банальный грабеж солдатни, изнасилования женщин...

У Маши была своя большая беда. Ее Вася, который служил в части, дислоцированной в Барановичах, на второй день войны ушел вместе со своей ротой, как он сказал, «навстречу врагу». Примчался домой, схватил какие-то бумаги, поцеловал ее и сына и побежал, лишь раз обернувшись, чтобы прокричать: «Мы их обязательно победим!» С тех пор от него ни слуху, ни духу. Как только через город стали проходить нескончаемые колонны наших пленных, Маша чуть ли не целыми днями вместе с другими женщинами стояла на обочине, не отходила в сторону, даже когда кормила грудью сына, всматривалась в лица несчастных, не отрываясь. Но через несколько дней она поняла, что зря искала своего мужа: он пошел воевать, как сам сказал, навстречу врагу, значит на запад, а пленных гнали с востока. И она вообще перестала выходить из дома.

Когда сын спал, Маша ложилась на старенький диван, закрывала глаза и вспоминала, как они познакомились с Васей, как гуляли вместе, как сыграли свадьбу, и слезы катились из глаз. Тогда Вася только заканчивал одно из московских военных училищ, а она была уже самостоятельной: после семилетки поступила в медицинское училище, окончила его и работала медсестрой, получала зарплату. Когда мужа направили в Барановичи, она приехала к нему. Здесь родился и их Мишка. Господи, как же они были счастливы! Где же ты теперь, родной ты мой? Жив ли ты?

Еще одна забота изводила ее. Она не находила выхода из положения. На что жить! Из предвоенных запасов осталось всего ничего: по несколько килограммов муки, макарон, гречки, перловки, гороха, сала, сахара-рафинада, три банки говяжьей тушёнки и четыре банки кильки в томатном соусе. Всё! Да и то такой резерв был накоплен благодаря ее неустанным стараниям: при малейшей возможности она пыталась пополнить запасы продуктов. Эта страсть ее частенько была предметом шуток Васи. Но Маша пропускала их мимо ушей. Сам он родился и вырос в Рязани, в семье плотника. Судя по его рассказам, им жилось не сладко, вполсыта. Но они и не голодали, а она такое пережила в своей деревне во время коллективизации да и после нее, когда ее родители вместе с ними, детьми, вынуждены были бежать из колхоза в Москву, что одно только воспоминание о тех голодных днях вызывало смятение. И что ей самой очень не нравилось, она не могла обо всем этом рассказать мужу: побег из села пахло тюрьмой. Поэтому Маша объясняла Васе переезд ее родителей вместе с детьми в Москву как ответ отца на приглашение его старшего брата – москвича, то есть ее родного дяди, поработать на метрострое, где требовалась рабочая сила в большом количестве.

С тех пор прошло десять лет, и вот с приходом войны угроза голода снова нависла над нею. Но уже в придачу с ребенком. Правда, сейчас можно пока не паниковать. Хозяева дома, у кого они снимали комнату, по-прежнему дают ей козье молоко, яйца, зелень с огорода. Раньше Маша доплачивала им за эту снедь. А сейчас кому нужны советские деньги? Оккупационных марок же у нее нет. Городской больнице, где она до беременности трудилась медсестрой, превращенный ныне в немецкий госпиталь, требовался персонал ее профиля. Но как быть с Миш-

кой? Его нужно кормить несколько раз на день. А жили они на окраине города, до места работы было далековато. Мать с грудным ребенком никто не возьмет.

Хозяева, дядя Петя и тетя Дуся, очень хорошие люди. Нет, не то слово – распрекрасные. Как говорил Вася, им, молодоженам, здорово повезло. За полтора года жизни между квартирантами и стариками не было ни одного, даже пустячного конфликта. Петр Дормидонтович Перемёт работал машинистом паровоза. Он рассказывал, что, когда Барановичи находились в Польше, он никак не мог получить эту должность, хотя окончил специальные курсы по этой части. Пришлось водить поезда в качестве помощника машиниста. И всё потому, по его мнению, что он был белорусом, а не поляком. «Нас малость подзажимали тогда, было дело», – вздыхал он. Его даже однажды вообще сняли с поезда и перевели в ремонтную бригаду. «Было за что, – соглашался дядя Петя. – Мы с другими мужиками пытались побузить, побастовать, требуя повышения зарплаты. Но нас быстренько прижали к ногтю.» Когда же Барановичи перешли к Советам, новые власти каким-то образом дознались о том эпизоде. «Меня чуть было не сделали революционером, борцом с панской Польшей, как они говорили» – улыбался Петр Дормидонтович. И предложили ему должность машиниста паровоза. Немцы приказали ему выполнять ту же работу. На вопросы молодых постояльцев, когда им лучше жилось – в Польше или при советской власти, и дядя Петя и тетя Дуся уклонялись от прямого ответа, отделывались общими фразами. Лишь хозяйка, Евдокия Пантелеевна, иногда ворчала, пеняя на то, что в магазинах стало пустовато. Особенно огорчала нехватка, а чаще всего полное отсутствие мануфактуры – от ситца до ниток и иголок. У нее была старенькая швейная машинка «Зингер», и она обшивала себя с мужем и семьей замужней дочери, которая жила там же, в Барановичах, выполняла заказы соседей, правда, изредка: много времени отнимали у нее другие домашние дела.

А на ее плечах лежало большое хозяйство. Три козы с парой козлят, два кабанчика на откорме, два десятка кур. И земли – целая десятина! Все соседи имели примерно по столько же – преимущество самой дальней окраины города, а за задами простиралась еще пустошь. Это и выпасы, а подальше и сенокосы. Перемёты умудрялись выжимать со своего участка и выгодного пастбищного соседства столько, что в нелегкие времена, а их со времен первой мировой войны выпадало немало, домашнее хозяйство могло крепко поддержать их небольшую семью – детей было только двое. Теперь старший жил во Львове, дочь с малой девочкой под боком в Барановичах. А зять накануне нападения немцев на Польшу поехал в Краков на заработки и сгинул. Так вот дядя Петя и тетя Дуся ежегодно с тридцати соток получали не менее тонны зерна – ячменя и пшеницы, с десяти соток – четыре тонны картофеля, даже имели полоску клевера – десять соток, которые давали до тонны отличного сена – весомая добавка к тому, что накашивали на пустоши. Плюс к этому огород – капуста, репа, горох, тыква, всякой зелени в сезон, а также сад с ягодниками. Петр Дормидонтович, объясняя своим квартирантам истоки такой высокой урожайности, поднимал палец кверху и победно произносил:

– Наука! Наловчился у немцев, когда был у них в плену в мировую войну. Почти весь плен проработал у одной семьи в деревне. А наука проста: айн – севооборот, цвай – навоз, драй – хорошие семена.

Одна сложность выпала нынешней весной. Прежде всегда удавалось договариваться в соседних селах насчет лошади для вспашки участка. На этот раз вышла нежданно-негаданная осечка: ближайшие деревни были объединены в колхозы, и заполучить коня на денек оказалось невозможным. Пришлось прибегнуть уже к забытому способу – самим запрягаться в однолемешный плуг. В эту работу были мобилизованы все: и дядя Петя, и тетя Дуся, и их дочь, и даже Вася, который специально отпрашивался у начальства на несколько часов, чтобы помочь «обществу».

И вот эту приусадебную десятину – кормилицу новые власти чуть было не урезали. Буквально накануне нападения немцев на СССР заявила какая-то комиссия и занялась измере-

нием земельных участков, закрепленных за владельцами домов той окраины, где жили Перемёты. Закончив работу, начальники заявили им, что у них много лишней пашни и лишнего скота. «Живете, как кулаки, не по-советски, будем сокращать», – строго сказали члены комиссии. На вопрос, куда и кому отойдут отрезанные куски, один из них показал на пустошь, которая начиналась сразу за садами и огородами. После их ухода местные жители, полные тревоги, чесали затылки и спрашивали друг у друга: «Зачем отнимать землю, если она станет зарастать сорняками, и кому мешает лишняя скотина?» Но такими риторическими вопросами в узком кругу и завершались обсуждения довольно неприятной новости. Наслышанные о многочисленных арестах за «разговорчики», граждане старались держать язык за зубами. Неудивительно, что если не все, то многие соседи Перемётов, как и они сами, с облегчением вздохнули, когда в городе появились немцы.

Однако радость была недолгой. Очень скоро появились «заготовители» в мундирах. Солдаты бесцеремонно шастали по хлевам и курятникам, хватали все, что можно было унести. Перемёты лишились семимесячного кабанчика и с десятков кур – ошутимый удар. Но открытого бабьего воя не наблюдалось. Видимо, ограбленные рассуждали философски: враг на то он и враг, чтобы вести себя по-вражески; и неизвестно, кто хуже – германцы, которые открыто отнимали нажитое людьми, расстреливали и вешали тоже открыто, или Советы, которые тоже открыто изымали у владельцев магазинчики, пекарни, сапожные мастерские, у сельских – скот и землю, сделав их колхозными, и тоже сажали в тюрьмы и расстреливали, но только тайно. При тех и других пришельцах приходилось съезживаться, ждать еще худшего и отмечать про себя, что жизнь в Польше все-таки была недурной, хотя тогда ее костили изрядно, даже вслух, но никто не мешал выпускать пар.

Такие разговоры Перемётов между собой и с соседями, частенько забегавшими к ним, с приходом немцев велись уже в присутствии Маши. Правда, ее по-прежнему считали пришлой, русской, то есть московской, но ныне безопасной, так как той власти, которую она, по убеждению местных, представляла, и след простыл. Однако Маша сама, хоть и помалкивала, но про себя их рассуждения принимала близко к сердцу как равная с ними: по ним и по ней одинаково прошелся смерч двух нашествий – советского и немецкого. Больше того, те, кто охал, вздыхал, проклинал обе власти, с точки зрения Маши, не пережил даже малой толики того, что пришлось испытать ей. Ей было девять лет, когда ее родителей силком затолкали в колхоз. Увели все – и лошадь, и корову с теленком, свиноматку с четырехмесячным приплодом в десять голов и даже всех кур. Забрали зерно и картофель не только семенное, но и все, что оставалось для пропитания. И сразу стало нечего есть. На всю жизнь ей запомнился первый вечер без ужина. Ее мама обшарила все углы, дважды лазила в подпол и ничего, кроме соленых огурцов и квашеной капусты, не смогла выставить на стол: все до последней картофелины вычистили из закровов председатель колхоза и его приспешники. Маша и ее братья, один младший, другой постарше, еще не соображая, что случилось, с удивлением смотрели на пустой стол. Вдруг отец, хлопнув себя по лбу, пошел в сени, вернулся оттуда с сидором, который обычно носил за спиной, когда отправлялся в уездный центр, пошарил рукой внутри и вытащил три маленьких черных сухаря и один кусок сахара-рафинада величиной с ее кулачек. Это и был их первый ужин в новой колхозной жизни. Даже самый маленький, шестилетний Колька не плакал. Похрустывая огурцом и сухарем, он испуганно глядел на мать, у которой молча текли из глаз слезы. Отец сидел поникший, разом постаревший. Как и мать, он ничего не ел и тупо смотрел в стол. Тот вечер колом врезался в память Маши.

И потом позже, живя уже в Москве, читая разные взрослые книги, она всегда интересовалась, что едят герои романов и повестей, откуда берутся у них харчи, на какие шиши они покупаются, как и сколько они зарабатывают. К ее величайшему изумлению, практически во всех так называемых художественных произведениях она не находила ответы на вопросы, которая считала насущными. Получалось, что многие персонажи питались святым духом. Конечно,

если они принадлежали к богатым, то дело было ясное. А остальные? Книжки с такими, в ее понимании, пробелами считались ею притворными. «Как же можно влюбляться, пахать, воевать, строить и ничего не есть! – произвольно мелькало в ее голове, столько раз озабоченной тем, где достать кусок хлеба. – В конце концов, сами же писатели едят, когда пишут свои книжки!»

С тревогой обдумывая ситуацию, в которой она оказалась с появлением немцев, прикидывая и так и эдак, Маша пришла к единственному выводу – ей надо уходить из Барановичей, уходить на восток, в Москву, к маме. Здесь она погибнет, погибнет от голода. С ней умрет и ее сын. Хотя хозяева квартиры люди и вправду хорошие, но она им чужая. С чего ради кормить им ее? К тому же на их иждивении еще дочь без работы и внучка двух лет. А если что случится с дядей Петей, единственным, кто получал зарплату у немцев? Да и вообще по какому праву она будет сидеть у них на шее! Нет, надо уходить. Пока есть запас продуктов, который она возьмет с собой, можно продержаться неделю-другую. А потом начнет побираться по дороге «Христа ради», попытается кормиться с леса, там есть чем поживиться маненько, выручат и колхозные картофельные поля. Бог ты мой! Десять лет назад она вместе с родителями, убегая из колхоза, два месяца добиралась лесами и болотами до Москвы. Правда, чуть было все не поумирали от голода. Но все-таки живы остались. Главное сейчас – это молоко. Его у нее много, даже избыток, приходится сцезивать излишек. Она должна спасти своего сыночка. Не ждать здесь его и своей смерти, а бороться, идти домой, подальше от немцев, этих сволочей. Господи! За что же еще такое наказание, такое горе!.. Подгадав, когда Петр Дормидонтович вернулся со смены к вечеру, Маша сообщила Перемётам о своем решении.

Разговор состоялся после ужина, во время традиционного долгого чаепития, когда Евдокия Пантелеевна обычно сообщала мужу о работе, проделанной по хозяйству, об уличных новостях, слухах, встречах и разговорах со знакомыми и незнакомыми людьми, если таковые объявлялись. Петр Дормидонтович в свою очередь рассказывал, как прошла смена (иногда он пропадал на работе по несколько суток), куда двигался эшелон, который тащил его поезд, что везли, что пришлось увидеть. Делясь своими впечатлениями, он на этот раз все чаще посматривал на Машу, которая почти всегда присутствовала на таких чаепитиях-посиделках. Обычно, покормив сына и уложив его спать, она источала покой и даже благодать, слушая разговоры об увиденном и услышанном. В тот же вечер она сидела понурая, нервно теребя край клеенки, которой был покрыт обеденный стол.

– Что случилось, дочка? – прервав свой рассказ-отчет, неожиданно обратился Петр Дормидонтович к Маше.

Та вздрогнула, передником вытерла губы, испуганно посмотрела сначала на него, потом на Евдокию Пантелеевну и просипела, враз потеряв голос:

– Я хочу поехать в Москву.

Сказала так, будто не было войны, в городе не хозяйничали немцы, будто можно было завтра пойти на вокзал и запросто взять билет на поезд до столица нашей родины – Москвы. Петр Дормидонтович медленно опустил недопитый стакан с чаем на стол, глянул удивленно на жену, застывшую в онемении, опять посмотрел на Машу и тихо, чуть ли не шепотом спросил:

– Как в Москву?

Маша, откашлявшись, но так полностью и не справившись с хрипотцой, продолжая еще сильнее теребить клеенку, рассказала, что она задумала, зачем и почему. За столом наступило молчание. Маша опустила голову, еле сдерживая слезы. Петр Дормидонтович и Евдокия Пантелеевна то обменивались взглядами, то посматривали на квартирантку. Молчание затягивалось.

– М-да, – наконец протянул Петр Дормидонтович. – В Москву, значит, собрались... Домой... К маме... М-да... Невозможное это дело, доченька, не-воз-мож-ное, – с расстановкой произнес он. Немного помолчав и кинув взгляд на жену, добавил: – К тому же мы с матерью не

гоним тебя. Оставайся. Как-нибудь проживем. Будешь помогать по хозяйству, а когда малец подрастет, найдем тебе работу. Вон немецкому госпиталю позарез нужны те же медсестры. Не умрем с голоду.

Евдокия Пантелеевна согласно и даже как бы радостно закивала головой.

Маша подняла голову, положила обе руки на стол, лицо ее посуровело и, глядя прямо в глаза Петра Дормидонтовича, твердым голосом произнесла:

– Спасибо на добром слове вам, дядя Петя, и вам, тетя Дуся, – она перевела взгляд на хозяйку и снова посмотрела на Петра Дормидонтовича. – Ну а что будет, если, не дай бог, немцы прогонят вас с работы? И если те же немцы отберут последних кур и последнего кабанчика да еще возьмутся за коз? Как тогда быть? А ведь, кроме меня с Мишкой, у вас еще внучка и ваша родная дочь, которая до сих пор без работы и неизвестно, когда она ее получит и получит ли вообще. Если бы мой сын был хотя бы на два-три месяца постарше, я бы согласилась, его можно было днем подкармливать кашкой, а сейчас ему нужно только молоко материнское. Для меня главное – сын. Мне голод не страшен. Я голодала не раз. Было дело, когда чуть вообще не померла, не емши много-много дней. Вы про меня ничего не знаете. Я не говорила о себе, потому что боялась власти. Теперь ее нет. И я скажу, как я, деревенская, из калужских лесов очутилась в Москве. Вы меня не раз спрашивали об этом, а я в ответ все вокруг и около. Так вот...

И она, сначала волнуясь, потом успокоившись, стала рассказывать о коллективизации, о раскулачивании, о первом голодном колхозном ужине, о том, что спустя несколько дней председатель артели возвратил-таки всем сельчанам почти всю картошку, часть зерна и всех кур. Возвратил потому, что никто из новообращенных колхозников не выходил на работу из-за голодухи. И еще потому, что реквизируемая картошка, сваленная прямо на землю во дворе раскулаченного и высланного соседа с семьей, начала подмерзать после первых морозов, а яйца, снесенные сотнями кур, распиханных по сараям других раскулаченных, некуда и не на чем было вывозить в уезд. Зерно же, так же сваленное, где попало, начало преть. Так вот за это, за частичный возврат ранее отнятого добра председателя колхоза, рабочего с какого-то калужского завода, потом арестовали и расстреляли – за, как было сообщено колхозникам, расхищение общественного имущества.

Если бы не дядя Вася, старший брат ее отца, продолжала далее свой печальный рассказ Маша, неизвестно, выжили бы они в колхозе. Немало их односельчан поумирало. У ее деда и бабушки было пятеро детей – три дочери и два сына, дядя Вася самый старший. Ее, Машин, отец – самый младший. Тети повыходили замуж за парней из других деревень. А братья остались при родителях. Дядя Вася воевал в первую мировую войну, вернулся домой целым, потом был мобилизован в Красную армию, прошел всю гражданскую, был дважды ранен, дослужился до командира взвода в пехоте. И вот спустя много лет, где-то за год – полтора до сплошной коллективизации он случайно встретил в Калуге своего тогдашнего комиссара полка. Они друг другу хорошо запомнились, потому что однажды дядя Вася, с его слов, с остатками своего взвода держал оборону в полуокружении на опушке леса и, чтобы уцелеть, им необходимо было отступить в глубь леса. Но этого сделать они не могли, потому что в одном из окопов лежал тяжело раненый комиссар полка, тот самый, с кем состоялась та встреча в Калуге. Тогда им всем повезло: вскоре подоспела помощь. Спасенный комиссар позвал к себе дядю Васю и еле слышно сказал ему: «Жив буду, как смогу, отблагодарю».

Как выяснилось, тот выжил и, встретив своего сослуживца, можно сказать, спасителя, повел его к себе домой. К тому времени дядя Вася успел продать несколько туш свиней, привезенных из деревни. У него было большое хозяйство: держал трех свиноматок, а это, считай, 60–70 поросят в год – хорошие деньги, если откормить и удачно сбыть. Бывший комиссар, по его рассказу, работал в обкоме партии. Посидели они на кухне до поздней ночи одни, разрешая хозяйке лишь подавать закуски да менять посуду. Как признался бывший комиссар, за все годы

после окончания гражданской войны он впервые мог говорить с человеком вот так открыто, не таясь, не боясь, что завтра его собеседник побежит с доносом на него. Он не страшился дяди Васи, потому что хорошо знал мужиков, особенно справных, трудяг: они ведали цену не только заработанной копейке, но и душевному, откровенному слову, которое залетало им в одно ухо и застревало там напрочь, с гарантией не выскочить наружу, случайно или тем более намеренно. Обкомовский работник пожаловался бывшему комвзвода, что он глубоко разочаровался в политике ЦК, в самом Сталине. Произнес фразу, широко распространенную в те времена, но высказываемую шепотом: «За что боролись, на то и напоролись.» И напоследок сообщил Василию такое, что тот, как потом поведал Машину отцу, враз отрезвел. А услышал он вот что:

– На самом верху, Вася, принято окончательное и бесповоротное решение – у всех мужиков по всему Советскому Союзу отнять землю, скот, инвентарь и свести все в одну кучу, которая будет называться сельхозартель или колхоз. Я говорю тебе это под большим секретом. Я обещал тогда после боя отблагодарить тебя и этим предупреждением сдерживаю свое слово. Ты мужик справный, при земле, при скотине, с добром, нажитым своим горбом. Все это у тебя отнимут. Не отдашь, все равно отнимут, но посадят, а могут и расстрелять. Поэтому мой совет: тихонько, не торопясь, у тебя есть в запасе год-полтора, распродай все свое имущество и подавайся в город, лучше в Москву. Там работы будет скоро полно да и затеряться легче. Закрепись там, может быть, купишь домик, потов вызовешь жену с детками. На деньги, что останутся, накупи все, что нужно для проживания, от барахла до инструментов. Скоро в магазинах ничего не будет. Такая вот политическая экономия. Сделаешь так, избежишь многих бед. Верь мне. Подступают очень тяжелые времена, Вася. А я хочу тебе добра. Ты был хороший солдат и работяга ты хороший. Сматывай удочки из деревни и как можно быстрее. Сталин хочет за счет сельских мужиков, за счет их форменного грабежа провести индустриализацию, построить социализм. Я категорически не согласен с таким решением ЦК. Это гибельно для деревни, для всей страны. Но таких, как я, не спрашивают. А если спрашивают и им отвечают, как я, нас сразу под ногу.

Дядя Вася так и поступил, как ему посоветовал бывший комиссар. Тихой сапой распродал все, что можно, и махнул в Москву. Устроился в метрострое, получил место в общежитии, потом купил полдома где-то на окраине, вывез семью. Отец Маши не стал следовать примеру старшего брата. Он наотрез отказывался верить в то, что кто-то, пусть даже сама власть начнет отнимать все, что по праву принадлежит людям. У него, прожившего гораздо меньше, чем брат, не укладывалось в голове, что можно просто так, не за понюшку табака, разорить мужика и силком заставить работать в каком-то колхозе, созданном путем обобществления награбленного добра. Такого быть не может потому, что не может быть никогда. Когда же оно все же случилось, он стал слать слезные письма своему братцу. Ответ того был один – удирай. Ответ Машиного отца – не могу, семья, детки, обещают посадить, если поймают. Но вот однажды из Москвы пришло очень тревожное письмо. «Сообщаю тебе горестную новость, браток: скоро повсюду будут вводиться паспорта и прописка. Но это коснется только городских, для деревенских – шиш. Сие означает, что дорога в города мужикам без разрешения будет полностью перекрыта. Тогда ты, братец, и твои детки будут до самого гроба горбатиться в колхозе за палочки-трудодни. В последний раз советую: пока паспорта не ввели, удирай. Но не так, как я: сначала один, потом семью вызвал. Тогда были другие времена. Сейчас тебе надо сразу всей семьей драпать. Смотри, чтоб не поймали. Поймают – тюрьма. Поэтому уходи ночью. Чтоб ни одна душа не знала. Уходи летом, когда тепло, лучше в конце июня – начале июля. Не вздумай пытаться ехать поездом, хоть товарняком – поймают. Даже по дорогам не смей – всюду заставы, а лучше лесками, опушками, вдоль шоссе, железнодорожных путей, проселками. Такие под сказки я получил от людей, которые смогли добраться из своих деревень в Москву и устроиться здесь, в нашем метрострое. Поселишься у меня. А там видно будет. Получить работу можно,

пока, повторяю, нет паспортов. Господи, хорошо хоть наши отец с матерью умерли, не видят, что творится на этом свете».

– И мой отец так и поступил – продолжала рассказывать Маша. – Мне было тогда десять лет, старшему брату тринадцать, младшему шесть лет. Папа построил тележку, пригодилась пара запасных колес для телеги. Мама всем сшила сидоры по росту, взяли с собой самое необходимое, что можно было унести, – одежду, легкие одеяла, по несколько пар лаптей на каждого, посуду. С харчами было плоховато, потом мы намучились из-за этого. Картошка еще не начала цвести, поэтому она была с горох. Муки и крупы имелось немного. Правда, сушеных грибов хватало. Нарвали в огороде молодой репы, забили всех кур – восемь штук. За зиму насушили только полмешка сухарей, больше не было возможностей. И вот как-то с наступлением темноты двинулись в сторону Малоярославца, Обнинска и далее к Наро-Фоминску. Не буду рассказывать, как мы шли. До Москвы мы добирались почти два месяца. Обходили сначала все деревни, но когда приперло, от голодухи становилось невмоготу, стучались в избы. Но никто ни разу не подал ни кусочка. Мы видели на дорогах толпы таких же, как мы, голодных и оборванных. Многих вылавливали, куда-то вели, сгоняя в строй. Видели мертвых, а также еще живых, распухших, неподвижных. Выпадали дни, когда казалось, и для нас наступал конец. Выручило нас то, что отец у нас искусный рыбак. Отходили от голодухи на реках Протва и Пахра. Выручали свежие грибы, воровали картошку на колхозных полях. Жаль, соль быстро кончилась, употребляли золу. И дошли!

При эти словах Маша встала, вышла из-за стола, подняла обе руки вверх и громко, очень громко сказала:

– И я дойду! Я обязательно дойду! Я спасу сына! Миша – это все, что у меня осталось, – и она заплакала, прижав передник к лицу. Заплакала открыто при всех впервые с начала войны.

Переметы сидели, пораженные, как громом – не ожидали от квартирантки такой открытости, такого чистосердечия. Молчали. Когда Маша, наконец, утихла, Петр Дормидонтович, заметно волнуясь, то и дело покашливая, стал говорить:

– Спасибо, доченька, что ты исповедуешься перед нами, как на духу. И мы тоже скажем тебе без утайки о том, что не могли помыслить вслух при прежней власти. Ты не раз спрашивала, как живет-поживает наш старший сын во Львове. Мы отвечали, как ты помнишь, мычанием. Не могли признаться, что нету нашего Стасика в живых. Советская власть его арестовала и расстреляла. Его вдова, наша сноха, написала, что за национализм. Что это такое, я не знаю. Я знаю, что он был нашей гордостью. Он исполнил нашу мечту – получил образование, закончил Львовский университет, работал учителем. Родился он спустя несколько месяцев после того, как меня забрали в армию, когда началась война с германцами. Мать одна растила его три года. Вернулся я из плена, места себе не находил от радости, держа его на руках. И вот нет его.

Петр Дормидонтович замолчал, опустил голову, подперев его руками, тяжелыми, жилистыми, с темными точками вьезшейся в кожу угольной пыли. Евдокия Пантелеевна приложила передник к глазам и чуть вздрагивала от неслышного плача.

– Вот такие дела, дочка, – после недолгой паузы снова заговорил Петр Дормидонтович. – Был сын – не стало сына... Вот мы с матерью и порешили было, – он вытащил из кармана огромный носовой платок, потер им лоб, ставший заметно вспотевшим. – Порешили, стало быть, чтобы твой Мишка сделался нашим внуком, а ты нашей дочкой. Конечно, есть у нас еще дочь, есть внучка. Но как-нибудь прокормимся. Не уезжай, Маша. Война. Не губи себя, не губи дитя. Не дойдешь. Десять лет назад, когда ты с родичами убегала из колхоза, не было войны, и то сколько тяжести пришлось испытать всем вам. А сейчас стреляют и бомбят. Да и расстояние от Барановичей до Москвы в три, если не в четыре раза больше, чем от Калуги до Москвы.

Снова воцарилось молчание.

– Дядя Петя, – нарушила его Маша, – вы говорите, что тогда не было войны, а сейчас война. Но разве тогда это была не война против своих же мужиков? Их вылавливали по доро-

гам, как злодеев, повсюду стояли кордоны, морили голодом, а несогласных с такой житухой сажали и даже расстреливали. А немцам чем я не угожу с ребенком? Буду идти себе и идти. А что касается расстояния, то, как только окажусь на нашей стороне, сяду на поезд. А насчет прокормиться всем вместе здесь... Да, сейчас можно. А если немцы всю живность заберут? А если немцы прогонят вас с работы? Я боюсь оказаться у вас на шее.

Опять наступило молчание. После затянувшейся паузы Петр Дормидонтович глубоко вздохнул, снова вытер пот со лба и каким-то чужим, глухим голосом произнес:

– Прогнать меня не прогонят, конечно. Им позарез нужны машинисты. А вот убить могут убить. Но не немцы, а русские. Я позавчера был за Минском. Впервые после начала войны видел советские самолеты, они бомбили немецкие эшелоны, что шли впереди нас. В следующий раз очередь может дойти и до моего состава. М-да... А что касается живности, до которой охочи солдаты...

Вдруг он сильно ударил кулаком по столу, встал, снова сел и, еле сдерживая ярость, прохрипел:

– Я не узнаю немцев. Я общался с ними – и с теми, кто попал к нам в плен в начале той войны, и с теми, кто брал нас в плен. Я жил среди них больше трех лет. Это были совсем другие люди. Нормальные люди. Нормально относились к нам, пленным, как и мы к их пленным. А эти немцы – какие-то звери. Расстреливают направо и налево, вешают даже баб молодых, грабят старух. Чуть что не так – к стенке! Ничего не понимаю!

Петр Дормидонтович встал из-за стола, начал медленно прохаживаться по просторной кухне. Потом остановился напротив Маши.

– Вот что, доченька, давай договоримся так. Ты еще подумай, хорошенько подумай. Решать тебе. Еще раз говорю: мы тебя не прогоняем, оставайся. И не держим силком, конечно. Завтра мне на смену, еду в сторону Польши, вернусь примерно через сутки. К тому времени ты должна определиться – уходить или оставаться. Если идти, то пока июль, тепло, надо спешить. Но я еще раз говорю: не советую.

Петр Дормидонтович понял, что ему не отговорить Машу, хотя, казалось бы, ясно: с точки зрения здравого смысла пытаться с ребенком осилить дорогу до Москвы в тысячу верст, да еще в военное время – сумасшествие. «Черт его знает, может, она из-за мужа в самом деле тронулась умом или поистине курица – не птица, а баба – не человек», – размышлял Петр Дормидонтович, отходя ко сну. Решил: раз разумные доводы не убеждают, он попытается хитростью удержать ее в Барановичах. А именно: попросить коменданта не выдавать разрешения, если тот сообразит это сделать. А если откажет с самого начала, не настаивать.

После возвращения из очередной смены Петра Дормидонтовича уже не велась дискуссия «уходить – не уходить.» Решение Маша приняла окончательное – идти. Дальнейший разговор принял чисто деловой характер. Сначала надо получить документ вроде нашего паспорта, но попроще, называется аусвайс, пояснял Петр Дормидонтович. Или, может, достаточно будет выданного разрешения на выезд из Барановичей. В комендатуре скажут. Туда они с Машей и пойдут завтра. У него отгул. Военный комендант его, возможно, запомнил. Запомнил потому, что, когда он ходил регистрироваться, с гауптманом он разговаривал по-немецки. Удивительное дело! После плена прошло больше двадцати лет, с тех пор он ни разу не повстречал ни одного немца, а вот поди ты, вспомнил язык ихний, когда комендант обратился к нему на своем... Может, он поможет. Так и скажем, мол, жена красного командира...

– Не надо, дядя Петя, говорить об этом. Меня убьют, – испуганно перебила его Маша.

– Да нет, доченька, хоть за это они не убивают. Если убивать всех жен и матерей красноармейцев и их командиров, никого в России не останется. И так сколько уже полегло русских солдат! А пленных? Я еду на поезде и каждый раз вижу – тысячи, нет десятки тысяч нескончаемой чередой идут и идут на запад. Я не могу понять, как можно так воевать – толпами

сдаваться в плен. В прежнюю войну тоже были пленные – и со стороны русских, и со стороны немцев с австрияками. Но то был мизер по сравнению с нынешними тысячами.

На другой день рано утром Петр Дормидонтович и Маша с ребенком отправились в военную комендатуру. Накануне она всячески оттягивала очередную кормежку, предполагая дать грудь сыну перед самым уходом, с расчетом на то, что он во время важного визита, сытый, не станет беспокоить высокое начальство. Но номер не вышел. Когда наступило время и Мишка не обнаружил привычной груди, начался такой рев, хоть уши затыкай. Маша упорствовала недолго, сдалась. Сын весь в слезах, чуть ли не захлебываясь молоком, принялся работать ртом с таким усердием, что сделалось больно груди. А насытившись, он, как обычно, не пригласил мать поиграть с ним, как уже начал было делать в паузах между едой и сном. Сын повел себя как-то странно. Он молча, не отрываясь, смотрел на мать, смотрел, как взрослый, вопросительно. На все ее сюсюканья, попытки сначала укачать его, потом развлечь Мишка продолжал молчать, не сводил глаз от нее, и ей даже увиделась в них тревога. «Господи, неужели он чует мои горести?» – с удивлением подумала Маша. Она, конечно, не знала и не могла знать, что с молоком ребенку передается все настроение матери. Не только она с волнением ждала исхода их визита в комендатуру. И двухмесячное дитя выражало беспокойство по поводу непонятого ему и непривычного для него душевного состояния матери – ее смятения. Но его малый организм не мог долго напрягаться по данному поводу, и малыш в конце концов заснул крепким младенческим сном.

К зданию комендатуры тянулось несколько очередей. Петр Дормидонтович, оставив Машу на площади, вошел в помещение. Его не было долго, с полчаса. Наконец он появился с довольным видом.

– Нас примет лично комендант, – доложил он. – Я с ним уже разговаривал. Он меня узнал. Велел подождать пятнадцать минут, – он вытащил часы на цепочке из кармашка брюк.

В ожидании аудиенции, разглядывая беспрерывно входящих и выходящих людей, Маша спросила у Петра Дормидонтовича, кто они такие и куда такие очереди. Он ответил, что одним нужно зарегистрироваться, другие хотят получить удостоверения личности, третьи пришли насчет работы. Когда пятнадцать минут прошло, они вошли в приемную военного коменданта города Барановичи.

...Гауптман Лутц, Курт Лутц, был необычным для немцев человеком. Он слыл весельчаком и повесой, таким бесшабашным малым, не скрывал своих наклонностей к выпивке, слабому полу и всевозможным шуткам. И все ему сходило с рук. Во-первых, потому, что свои похождения он совершал за пределами своей части, так сказать во внеслужебное время. Во-вторых, имея папашу, который в Лейпциге содержал несколько магазинов готовой одежды, он мог позволить себе частенько угощать неплохой выпивкой и хорошенькими девицами своих приятелей-офицеров из своей части, в том числе вышестоящих командиров. Такое мотовство тоже было нетипичным для немца. Но за это его никто не осуждал. Наоборот, многие сослуживцы отзывались о гауптмане с самой лучшей стороны. Он числился на хорошем счету еще и благодаря боевым успехам своей пехотной роты. Приняв ее под свое командование за несколько месяцев до польской компании, он меньше уделял внимание строевой подготовке, а больше приемам ведения боя, умению окапываться, бегу при полной амуниции, многокилометровым броскам, взаимодействию при атаках с танками и стрельбе, стрельбе и еще раз стрельбе. Благодаря такой неустанной подготовке его рота отлично проявила себя в войне против Польши, а во Франции отличилась дважды. Первый раз при упорной обороне небольшого предместного плацдарма на берегу какой-то речушки. Во второй раз, когда в своей полосе наступления он далеко оторвался от батальона, стремительно пересек гряду лесистых холмов и раньше своих танков оказался в тылу противника, оседлав дорогу, по которой пытались отступать французы. После победы в той войне ему присвоили звание гауптмана.

Через несколько месяцев Карл Лутц со своей ротой вновь оказался в Польше. То было время, когда Германия начала стягивать войска к границе с СССР. Гауптман сразу сообразил, что дело идет к нападению на Россию. И он с еще большим рвением принялся за боевую подготовку своих солдат и младших командиров. Но не забывал он и про веселую жизнь. Частенько развлекался с такими же ротными, как и он сам, и в обществе некоторых офицеров повыше – из штаба батальона и даже полка. Время проводили шумно, на широкую ногу, в компании прекрасных полячек. Выпивки сопровождались скабресными песенками, анекдотами, смехом. Уж что-что, а посмеяться Карл Лутц любил. Как говорится, хлебом его не корми, а дай повод поржать. И довеселился в конце концов.

Однажды ночью во время пьяных мотогонок он свалился в глубокий овраг. Получил серьезную травму – трещину в коленной чашечке и перелом левого предплечья. Несколько месяцев пролежал в госпитале. Вышел хромым и с заметным шрамом над левой бровью. Подлежал увольнению из вермахта. Однако Курт даже мысленно не представлял себя вне армии. Используя связи своих приятелей из штабов батальона и полка, он стал хлопотать, чтобы его оставили в вооруженных силах в качестве нестроевика. И это удалось, благо та пьяная авария была умело оформлена его же собутыльниками как несчастный случай во время боевых учений роты. Гауптман оказался в какой-то резервной части. За несколько дней до нападения на Советский Союз его вызвало начальство и предложило должность военного коменданта в городе Барановичи, который, по расчетам командования, должен был захвачен в первые же дни войны. Лутц дал свое согласие...

Когда Петр Дормидонтович с Машей со спящим ребенком на руках вошли в его кабинет, Курт даже привстал от удивления. Все картины мадонн с младенцами, которые он перевидал в музеях Дрездена, Берлина, Парижа, Амстердама, сейчас казались ему лубочными картинками по сравнению с живым воплощением материнства и женской плоти одновременно, представшими перед ним. Маша действительно была хороша собой – и лицом, и статью. Густые длинные темно-каштановые волосы ниспадали на ее плечи. Внимание мужчин особенно привлекало ее богатый бюст. Он украшал ее и до беременности, а после родов, полные молока, ее груди вызвали беспокойство у каждого, кто способен был испытывать истому при виде женских прелестей.

Гауптман, прихрамывая, дважды обошел вошедших, не спуская глаз с просительницы, потом обратился к Петру Дормидонтовичу:

– Она знает немецкий?

Петр Дормидонтович отрицательно покачал головой.

Вернувшись к своему столу и сев на стул, сказал:

– Передайте ей, зачем ей тащиться в такую даль да еще во время боевых действий. Когда мы захватим Москву, война закончится, можно будет спокойно отправляться к маме. Пусть она пока остается в городе. Мы здесь создадим молодой фрау неплохие условия. Я сам займусь устройством её жизни.

Петру Дормидонтовичу очень не понравилось предложение коменданта. Но еще раньше его обеспокоили понятные для каждого мужика похотливые взгляды гауптмана, которые тот бросал на Машу. Петр Дормидонтович начал осознавать, что они влипли: сами заявили в клетку к хищнику. И если раньше он все-таки надеялся отговорить Машу от безумного шага, тешил себя, что комендант просто не выдаст разрешение на выезд или он, Петр Дормидонтович, попросит его не делать этого, что спасет женщину и ребенка от неминуемой гибели на военных дорогах, то теперь, поняв намерения германского самца, решил приложить максимум усилий, чтобы помочь ей выбраться из Барановичей, иначе Маше грозило бесчестье. Поэтому он перевел слова немецкого начальника, сделав акцент на его посулы устроить ей безмятежную жизнь. Но Маша пропустила мимо ушей намеки коменданта и неожиданно для Петра Дормидонтовича спросила:

– А почему он думает, что немцы возьмут Москву?

– Нельзя так, дочка, – испугался Петр Дормидонтович. – Я не могу это перевести.

Но слово «Москва» было услышано, и комендант осведомился:

– Что она говорит о Москве?

– Она сомневается, что германские войска возьмут Москву.

– Она сомневается? – гауптман привстал, уже с любопытством поглядывая на просительницу. – Может, она комсомолка?

Петр Дормидонтович вздрогнул: это похуже похотливых устремлений. Переведя слова немца, он достал свой огромный носовой платок и стал вытирать разом ставший мокрым лоб. Маша молчала.

– Ну? – нетерпеливо и жестко воскликнул комендант, уже прикидывая, что ему делать с этой красавицей – большевичкой: расстрелять или все же пока оставить при себе: уж очень она хороша!

– Нет, я не комсомолка, – угрюмо ответила Маша, опустив голову. – Даже если бы захотела, меня все равно не приняли бы в комсомол.

– Почему? – гауптман снова сел.

– Потому что я, точнее мои родители, убежали из колхоза. Тогда мне было десять лет. А если бы я решила вступить в комсомол, то проверили бы, как я и мои родители очутились в Москве. Проверили бы и дознались, что мы все сбежали из колхоза. Тогда бы их посадили в тюрьму, а, может быть, и меня, и моих братьев.

– Мы у себя в Германии много слышали о колхозах. Если коротко, что это такое.

– Колхоз – это когда у людей отнимают всё: и землю, и лошадей, и коров, и свиней, делают их общими, потом заставляют всех работать бесплатно.

– Бесплатно? А как же поесть? На что они покупают еду, одежду, обувь?

– Колхоз не платит деньги. Он немного выдает зерна, муки, крупы. Обувь делают сами – в основном лапти и валенки. Одежду тоже шьют чаще всего сами из своей домотканой материи, получают ее из льна, конопли, вяжут кофточки, варежки, носки из шерсти.

– Господи! Да это же средневековье! Крепостное право! И ваши солдаты еще сражаются за такой режим? Да и вы какого черта стремитесь в Москву, в логово этого большевистского варварства?

– Там у меня мама и отец, если его не забрали в армию. И мне нужна их помощь, чтобы спасти моего ребенка. Я хочу, чтобы он остался жив. Больше мне ничего не надо.

Гауптман уже с интересом посмотрел на молодую мать с ребенком на руках, который тихо посапывал во сне, спросил:

– Прочему вы считаете, что мы, немцы, не возьмем Москву?

Маша немного помолчала, потом пожала плечами.

– Не знаю, – после небольшой паузы добавила: – Когда мой муж уходил на фронт, он сказал, что мы победим. Обязательно победим. Я ему верю.

– Но как же можно сражаться за власть, которая отняла у вас все и сделала вас крепостными? И защищать ту же Москву, где находятся большевистские главари такого дикого режима?

Маша молчала.

– Ну? Отвечайте!

Маша пожала плечами. Потом подняла голову и посмотрела прямо в глаза коменданту:

– При чем тут власть... Каждый... должен... защищать себя. Своих детей. Жену. Свою мать, – вздохнула. – Испокон веков так было – на кого нападают, те защищаются, – она облизнула засохшие губы. – Не власть защищают, а самих себя прежде всего.

На лице коменданта отразилось удивление.

– Это ваше окончательное решение – покинуть Барановичи? Имейте в виду, что наши доблестные войска уже в Орше.

– Да, – твердо ответила она.

Курт Лутц понял, что из этой решительной молодой красивой ффрау, которой изрядно досталось от жизни и для которой главное сейчас – ее ребенок, из нее не сделать любовницу. То есть сделать, конечно, можно, но только не любовницу, а наложницу – грубой силой. Но из всех своих многочисленных амурных походов он давно извлек непреложную истину – от женщины, взятой насилем, обманом или за деньги, не расположенной, мягко говоря, к своему властителю, невозможно получить настоящей мужской радости. Это он понял сразу еще юношей, когда в первый и в последний раз переспал с проституткой. Гауптман с сожалением и даже с долей уважения посмотрел на просительницу и благожелательно произнес:

– Хорошо. Я дам разрешение. Подождите в коридоре.

Оставшись один, он задумался, потом вдруг хлопнул себя ладонью по лбу, сначала заулыбался, а потом расхохотался.

– Франц! – весело позвал он своего адъютанта.

...Когда примерно через полчаса тот же Франц пригласил просителей в кабинет коменданта, тот встретил их с очаровательной улыбкой.

– Вот вам разрешение на выезд, – торжественно сказал он, протягивая им бумагу. – Теперь молодая мать может беспрепятственно передвигаться по территории, занятой героическими германскими войсками. Больше того, я позвонил коменданту железнодорожного вокзала и по-приятельски попросил его посадить ффрау с ребенком на первый же поезд, идущий на восток. И он любезно согласился. Так что в любое время вы можете зайти к нему. Итак, до скорого свидания в Москве, – и гауптман громко расхохотался.

Ошарашенные таким приемом, Петр Дормидонтович и Маша покинули комендатуру. Оба, не сговариваясь, одновременно подумали, что немецкий офицер подстроил им какую-нибудь пакость. Петр Дормидонтович с опаской развернул бумагу и стал читать про себя. Там было написано следующее.

Разрешение на выезд

«Я, военный комендант г. Барановичи гауптман Лутц, разрешаю жене старшего лейтенанта Красной Армии Марии Петровой, 20 лет, вместе с ее двухмесячным сыном покинуть г. Барановичи в направлении на восток с целью добраться до г. Москвы, где живут ее родители. Я обращаюсь ко всем германским частям, которые встретятся на пути следования ффрау Петровой, оказывать ей всяческое содействие в продвижении ее в сторону столицы России. Такая просьба вызвана тем, что жена красного командира всерьез убеждена, будто доберется до своей мамы быстрее, чем доблестные войска вермахта захватят Москву. Но я поставил ей условие. Если мы, немцы, возьмем большевистское логово раньше, чем она придет в свой родной город, то ффрау обязана будет публично поцеловать враскос германского коменданта Кремля, независимо от его возраста, чина и внешности, с его, разумеется, разрешения. Если же она опередит немецкие части, то есть раньше нас объявится в столице России (что возможно чисто теоретически), то я, Курт Лутц, германский офицер, обещаю съесть обе портянки моего адъютанта Франца. В связи с вышеизложенным еще раз прошу всех солдат и командиров частей вермахта, в расположении которых окажется указанная молодая мать с грудным ребенком, не препятствовать и даже по возможности

помогать ей двигаться вперед. Иначе говоря, я призываю обеспечить честное соревнование на пути продвижения к Москве: ее – к своим родителям, а победоносных германских войск – для захвата сердца России. Хайль Гитлер!»

Прочитав документ, Петр Дормидонтович промолвил про себя: «Скотина», а Маше объяснил, выдавив из себя улыбку, что все в порядке, надо готовиться к отъезду, если она не передумала. Завтра он тоже не работает, его паровоз на ремонте. Вот завтра-то, пока он в городе, ей и надо двинуться в путь-дорогу. Что брать с собой, что не брать, все они вместе с хозяйкой сегодня обсудят. И оба они, потрясенные успехом своей трудной миссии, направились домой. На полпути Маша остановилась и спросила:

– Дядя Петя, а почему немец так смеялся?

Петр Дормидонтович от неожиданности остановился, растерянно посмотрел на нее, не зная, что сказать, и наконец пробормотал:

– А черт его знает, чего он разоржался!

С ветерком на восток

Весь оставшийся день, даже вечернее чаепитие были посвящены предстоящим сборам. Петр Дормидонтович деловито определил главные составные части работы в этом направлении. Первое, отмечал он, – это одежда и обувь, второе – харчи, третье – что нужно для ночлега, четвертое – посуда, пятое – куда все это складывать и как на себе тащить, шестое – место ребенка в ходе передвижения матери: на руках или за спиной. Обсуждали долго, тщательно, каждый вносил свои предложения, давал советы, их дружно принимали или отвергали, снова возвращались к уже, казалось бы, окончательно решенному, уточняли, отказывались от того, что еще час назад принималось безоговорочно. В конце концов, по всем основным пунктам определились окончательно.

Петр Дормидонтович принес из чулана запыленный ранец.

– Немецкий, солдатский, – объяснил он. – Подарок от моих прежних сельских хозяев, у которых я работал почти весь плен. Когда после окончания войны я покидал их, они заполнили ранец едой. Благодарили меня за хорошую работу, а я их – за доброту и внимание. Теперь о наших делах. На наружную сторону ранца надо крепко, суровыми нитками пришить кусок мешковины размером с ребенка. Чтобы получился как бы мешочек для пацана. Чтобы он случайно не вывалился, на уровне его груди поверх мешковины пришейте широкий пояс из материи с пряжкой. Мать, – обратился он к жене, – ты знаешь, где старые мешки, – на чердаке справа от лаза на полке, а пряжку найдешь там же в ящике со старыми гвоздями. Можешь чередовать, – посмотрел на Машу, – несешь сына на спине, потом на руках.

Экипировать Машу было решено так. Она надевает парусиновые брюки Стасика, которые он носил, когда был юношей. По всем параметрам они должны подойти к ней. Однако она наотрез отказалась ходить в мужских штанах: непривычно и жарко в них в такую теплынь. Но Петр Дормидонтович был непреклонен.

– Портки – вещь первостатейная для любого полу, в особенности ежели предстоит дальняя дорога. Убедишься потом сама, спасибо скажешь. Больше того, от Васи твоего остались, я видел, широкий командирский пояс и портупья...

– Господи, а портупья зачем? – недовольно перебила его Маша.

– Портупья – штука не для фасона, а для того, чтобы штаны не упали от тяжести того, что цепляется к поясному ремню. А у тебя к ремню будут присобачены две солдатские фляги с водой, одна твоего Васи, другая моя, сохранилась у меня с той войны, а также немецкий нож в ножнах – дарю тебе, отличная сталь. На ремень мы повесим также мешочек с харчами из расчета на день, чтобы ты каждый раз не копалась в ранце. Там будут и мыло с полотенцем. Так и ранец полегчает. А поверх всего этого добра наденешь свою веселую в горошек блузку. Прежде ты носила ее, заправляя в юбку, а теперь поверх брюк. И все твое снаряжение на поясе не будет видно, и не так жарко днем.

Подошли и ботинки Стасика. Правда, они были чуть велики, но с портянками в самый раз. «Не смотри, что они сильно ношенные, – заметил Петр Дормидонтович. – А прочности им не занимать – чехословацкие, – он поднял указательный палец, – фирмы «Батя», небось не слышала о такой? В любом случае твоя женская обувка не годится для такой дальней дороги.

Из одежды решено было, кроме нижнего белья, взять две теплые кофточки – фабричную и шерстяную ручной вязки, свитер плюс парусиновую куртку, тоже Стасика. «Ее сразу надевай, как только войдешь в лес, – наставлял Машу Петр Дормидонтович. – Иначе другая одежонка скоро превратится в лохмотья.» В комплект вошли также тонкое байковое одеяло и старая клеенка – от дождя.

Над продуктами пришлось изрядно поломать голову. В итоге составилась такой набор. Четыре килограммов черных сухарей. Два килограмма гороха. Два килограмма гречки. Три

килограмма сала. Один килограмм сахара – рафинада. Два килограмма сухого подсолненного козьего творога – подарок хозяев. Три банки говяжьей тушёнки. Пачка соли. Пачка чая. Пять коробок спичек. Складной нож. Все это прикидывали на глазок, так как весов не было. Решено было взять две кастрюли – одну маленькую, другую побольше, две чашки, столько же ложек. Поверх ранца в спальный мешочек предполагалось уложить Мишку. Когда весь этот скарб упаковали и Маша в качестве примерки взвалила его на себя, она едва удержалась на ногах, да и то благодаря тете Дуси, которая успела подпереть ее. Сняв ранец, Маша упала на диван и горько расплакалась. Петр Дормидонтович несколько перераспределил кладь. Значительную часть его рассовал по двум авоськам и пояснил Маше:

– Когда ребенок будет на спине, авоськи возьмешь в обе руки. Когда ребенок будет на руках, авоськи запихнешь в ранец.

Затем вручил Маше четвертинку самогона.

– Это не простой самогон, – сказал он, – это первач, почти спирт. Он может тебе очень пригодиться – для растирания малыша в случае его простуды или для обмена на харч. Береги его. Веса в нем немного, но цена немалая.

Кроме того, он дал ей советские деньги.

– Они нам уже не понадобятся. А тебе сгодятся, если доберешься до своих. И у тебя есть, наверное, свои деньжата. По ту сторону фронта сможешь кое-что купить на них.

– А если наши вернутся, как вы без денег?

– Это еще бабка надвое сказала – вернутся они или не вернутся, а тебе выживать сегодня. Если вернутся – заработаем.

Следующим утром, чуть свет, плотно позавтракав, Маша в сопровождении Петра Дормидонтовича отправились на вокзал. И ранец, и авоськи, и еще одну дополнительную сумку тащил он. Пояснил: «В этой сумке – бутылка молока, несколько лепешек из кислого теста, с десяток вареных яиц и репа. Если удастся сесть на поезд, не на себе тащить.» Благодаря его служебному удостоверению они беспрепятственно миновали все посты на территории железнодорожного вокзала и благополучно добрались до кабинета коменданта. Петр Дормидонтович оставил Машу на перроне с вещами, взял у нее разрешение на выезд и вошел в приемную. Там никого не было. За дверью раздавалась приглушенная немецкая речь. Он постучал в дверь, приоткрыл ее и просунул голову. В помещении находились сам комендант – обер-лейтенант, а также майор и гауптман – оба танкисты. Хозяин кабинета, увидев знакомого машиниста, поманил его. Тот вошел, четко изложил свою просьбу, сослался на военного коменданта города Барановичи и протянул разрешение на выезд. Обер-лейтенант быстро пробежал его глазами, заулыбался и спросил других офицеров:

– Хотите поржать?

И стал вслух читать документ. Когда дошел до конца, раздался дружный смех. Майор, тот почти согнулся от хохота. Когда они все отсмеялись, комендант обратился к майору полушутя – полуофициально:

– Господин командир танкового батальона! У вас есть возможность первым в вермахте оказать содействие бедной молодой фрау с ребенком в ее продвижении на восток. Бог будет свидетелем, что мы, немцы, честно выполняем условия соревнования на пути следования в Москву, соревнования, кто быстрее – мы или она. Будем джентльменами, все равно мы окажемся там раньше ее.

Снова раздался смех. Когда он стих, майор спросил у Петра Дормидонтовича:

– Где эта фрау, которая намерена опередить нас?

– Там, на улице.

– Хорошо. Наш эшелон отправляется ровно через час. Вашу путешественницу я посажу на открытую платформу с танками, подальше от наших солдат. Из-под танка не высовываться. А сейчас пошли с нами.

Эшелон с танками стоял на дальних путях. Когда странная для посторонних глаз процессия – впереди два офицера, за ними женщина с ребенком и пожилой мужчина, загруженный барахлом под завязку, подошли к одному из пассажирских вагонов, судя по всему, штабному, оттуда спрыгнул обер-лейтенант. Вытянувшись, он внимательно выслушал то, что сказал ему майор, показав рукой на гражданских. Ответив «яволь», обер-лейтенант, дождавшись, когда начальство скроется в штабном вагоне, подошел к Маше с Петром Дормидонтовичем. Сначала он молча уставился на них. На лице его было написано замешательство. Еще никогда за все время его службы в танковых войсках ни одна баба, даже немка, не подсаживалась на военный эшелон. Тем более, что это было строжайше запрещено. А тут какая-то фрау, скорее всего беженка с ребенком и вещами. Такое грубое нарушения устава голова обер-лейтенанта постичь не могла. Но приказ есть приказ, и он спросил, обращаясь к обоим, говорят ли они по-немецки. Петр Дормидонтович ответил, что только он, а она не понимает ни слова. Офицер дал знать, чтобы они следовали за ним. Дойдя до середины состава, он показал на платформу с одним танками и буркнул:

– Сюда. Из-под танка не высовываться. Когда доедем до конечного пункта назначения, скажем. Эшелон отправляется, – он посмотрел на часы, – через сорок две минуты. Но садиться надо сейчас, – повернулся и ушел.

Петр Дормидонтович помог Маше взобраться на платформу, передал ребенка и вещи. Она все перетаскала под танк.

– Ну что ж, прощай доченька. Я дождусь, когда поезд стронется, но пока отойду подальше, чтобы не мозолить глаза немцам. Вон за тот товарняк с углем. Счастливой дороги! Не поминай лихом!

– Ой, дядя Петя, век вас и тетю Дусю не забуду. Буду молиться богу за вас. И накажу сыну, когда он подрастет, делать то же самое. – И когда Петр Дормидонтович, повернувшись, уже стал отходить, спросила: – Дядя Петя, а чего они опять смеялись, я слышала через открытое окно? Снова над моей бумажкой?

– Да нет, – ответил он, – Хохотали над чем-то своим.

Проснулся сын, стал звать к себе. Подошло время кормления. Обнаружив, что пеленки мокрые, заменила их на сухие. Поиграла с Мишкой, поговорила с ним. Расстелила байковое одеяло. Прилегла, подложив ранец под голову, и лежа дала сыну грудь, сначала одну, потом другую. Насытившись, мальчик потребовал игры с ним. Утомившись, заснул. На Машу нашло умиротворение. Несмотря на то что день выдался жарким, под танком было прохладно. Она закрыла глаза и... заснула. Сказались треволения прошлых дней, бессонные тревожные ночи и сегодняшнее напряжение. Она спала, не услышав, как двинулся состав, как он набрал скорость и помчался в сторону Минска. А Петр Дормидонтович, вынырнув из-под полувагона с углем, когда эшелон с танками тронулся с места, с удивлением не обнаружил на платформе Машу. Подумав, что, выполняя приказ не высовываться, она просто осталась под танком, он помахал вслед уходящему составу рукой и осенил его крестным знаменем.

...Она проснулась от истошного крика своего дитяти. Мальчик плакал, видимо, давно, даже чуть охрип. Маша прижала его к себе, успокаивая и пытаясь сообразить, что так сильно могло напугать сына. Но его никто и ничто не напугало. Он банально проголодался. Говорят, что кормящая мать даже при бомбардировке сквозь сон слышит плач. Но Маша была так измучена прежними многодневными тревожными думами, что, выбравшись столь удачно из города, чувствуя себя полностью защищенной громадой танка, она напрочь отключилась и, судя по тому, что солнце стояло в зените, в таком беспамятном блаженстве находилась чуть ли не полдня. Получив долгожданную грудь, малыш сразу успокоился, зачмокал, заурчал. Слезы, еще минуту назад лившие ручьем, высыхали, как капли дождя на листьях под лучами солнца.

Сын утолял голод, а мать корчилась от внезапно охватившей ее потребности справиться малую нужду. Еще бы столько часов спать! Она терпела, стиснув зубы: ей очень не хотелось

лишать Мишку радости. И все-таки не выдержала, отняла грудь и под рев обиженного такой несправедливостью малыша поспешно выползла из-под танка и на четвереньках, чтобы ее никто не видел, обогнула стальную махину, присела и вдруг с ужасом осознала, что она не может просто так, как прежде, задрать юбку, опорожниться: мешали брюки, проклятые мужские штаны. А сил сдерживать напор уже не было. Но она понимала: если даст слабину, проблем тогда не миновать – баньку с постирушками никто ей не предложит. Она поднялась во весь рост и, вновь проклиная и портки, и португую, с трудом освободившись от них, выскользнула из брюк и с огромным облегчением опустилась на корточки.

В это самое время состав, а он был длинным, делал заметный поворот, и из последнего вагона солдаты увидели потрясающее чудо – голую женскую задницу на фоне темного танка. Кто-то из них слышал, что с разрешения начальства на одной из платформ едет молодая женщина с ребенком. Но одно дело слышать, совсем другое – видеть, да еще в таком натуральном изображении. Сия красочная картинка всерьез разволновало воинство, сопровождавшее танки. Скабрешному обсуждению не было конца. А кое-кого явление женских прелестей подвигло на подвиг...

Поезд двигался безостановочно. Возможно, когда Маша спала мертвым сном, эшелон где-то и стоял. Но сейчас на полном ходу он проскакивал станции и полустанки. Иногда состав замедлял ход, потом снова набирал скорость и мчался на всех парах. Маша, лежа на одеяле под танком, закрыла глаза. Рядом посапывал сынишка. Было хорошо на душе. Все тревоги позади. Мечталось, что вот так на открытой платформе, защищенная сверху стальным чудовищем, под стук колес она будет ехать и ехать до самой Москвы. Будет ехать, не останавливаясь. Понимая, что все это бредни и что впереди ее ждут наверняка нелегкие дни, тем не менее она старалась не думать о предстоящих тяготах и наслаждалась выпавшим ей покоем. Подумала, что старшего братишку, конечно, взяли в армию. А Вася... Господи, сохрани ему жизнь, помоги ему в ратных делах! «А я сделаю все, чтобы наш Мишка был здоров, – мысленно обращалась она к мужу. – Я тебе обещаю, что мы с ним обязательно дойдем до Москвы, и оттуда я напишу твоим родителям в Рязань».

Стало прохладно от встречного ветра. Она укрыла краем одеяла Мишку. Тот по-прежнему спал сладким сном. Вдруг она почувствовала сильный голод. Еще бы! Столько часов прошло после завтрака. Вспомнив, что дядя Петя добавил к ее харчам весомый довесок, она нашла бутылку молока, толстые лепешки из кислого теста, яйца и репу, вытащила из ножен немецкий солдатский нож и, орудуя им, принялась уплетать все это за обе щеки. Воздух был наполнен ароматом пронесившихся мимо лугов и лесов, благо паровозный дым относил на север, налево по ходу поезда. Середина июля – время, когда цветут все травы. В Минске состав остановился. Простоял часа полтора-два. Чтобы не быть замеченной, Маша заползла под самое брюхо танка. Поехали, и снова без остановок. Попыталась заснуть – не получилось. Видно, днем отоспалась. Это даже хорошо. Скоро полночь – пора кормить сына. Когда время подоспело, она дала грудь Мишке, потом поиграла с ним, поговорила, попела песенки, а когда он снова засопел, накрыла сына и себя второй половиной одеяла и крепко заснула.

...Проснулась она оттого, что кто-то тянул ее за ноги из-под танка. Стояла кромешная тьма. Поезд не двигался. Сначала Маша подумала, что это ей снится – некто тащит ее куда-то в бездну. Но когда «некто», вытянув ее из-под днища, навалился на нее, она поняла, что все происходит наяву. Испуганно, но тихо спросила: «Ты кто? Что тебе надо?» А потом, окончательно проснувшись и осознав, что к чему, истошно закричала: «Караул! Люди! На помощь! А-а-а!» Неизвестное существо грубо закрыло ей рот рукой, а другой полезло в промежность, но, нащупав препятствие в виде крепких парусиновых мужских штанов, попыталось порвать их. Ничего у него не получилось. Маша правой рукой сбила руку негодяя, зажимающую ей рот, и завопила так, что где-то вдали залаяли собаки. Проснулся Мишка и заревел во все свое звонкое младенческое горло. Ночная тишина огласилась воплями.

Однако вселенский шум не остановил насильника. Он, придавив своими ногами ее ноги, уже двумя руками пытался стащить брюки с женщины. Не вышло. Наконец, он догадался расстегнуть ремень, но портупая, о существовании которой не догадывался, прочно держала штаны. Маша яростно била двумя руками по лицу неизвестного и продолжала кричать. Наконец изловчилась, вызволила одну ногу и, опираясь на нее, опрокинула мужчину на бок, вцепилась зубами сначала в его щеку, а потом в нос. Подонок взвыл от боли, сильно ударил Машу по лицу, громко выругался по-немецки. Услышав ненавистную речь, она тигрицей навалилась на него, колотя изверга куда попало и крича ругательства, известные каждому русскому с младых лет. А ей во всю вторил Мишка, охваченный страхом за свою мать, которая издавала душераздирающие недвусмысленные для него звуки тревоги.

На станции проснулось всё, что спало поблизости. Раздались трели свистков. Один из часовых выстрелил в воздух. Наряд полевой жандармерии, дежуривший в ту ночь, помчался в сторону криков. Когда свистки и топот ног приблизились к платформе, где в жестоких объятиях схватились двое, немец понял, что надо давать деру. Он сбросил с себя женщину, вскочил на ноги, чтобы убежать, но вошедшая в раж Маша, потрясенная неслыханным посягательством, мертвой хваткой вцепилась сзади в поясной ремень подлеца, и все его попытки вырваться ни к чему не привели. В таком положении их и застала полевая жандармерия.

Маша с трудом успокоила сына. Руки и губы ее тряслись. Жандармы, посвечивая фонариками, аккуратно вытащили из-под танка все ее вещи. Нападавшего крепко взяли под руки с обеих сторон, и наряд с задержанными двинулся в сторону вокзала. Это была Орша.

По случаю шумного, но пока непонятного ЧП разбудили железнодорожного коменданта. Майор, предполагая, что поймали партизан, о которых уже шла молва, сначала с удивлением рассматривал женщину с ребенком и, судя по знакам отличия, рядового-танкиста. Вид у обоих был впечатляющим. У женщины брюки висели на одной портупее, вязаная теплая кофточка свисала ключьями, обнажая довольно полные груди, упрятанные под бюстгалтер. Под ее глазом светился фингал величиной с кулак. Губы были разбиты и источали кровь. У немца из перекусанной щеки тоже сочилась кровь, а вот нос являл собой не дожеванный полусырой бифштекс.

Узнав, в чем дело, комендант пришел в ярость: из-за какого бабника и русской потаскухи его лишили сна! Он приказал немедленно найти и привести начальника танкового эшелона. Он не хотел ограничиться простым расстрелом этой мешочницы с младенцем, проникнувшей в расположение военной части. Он решил, выполняя свой воинский и служебный долг, дать ход делу по поводу присутствия среди танков гражданского лица. К этому подтолкнула майора оплошность неудачливого ловеласа. На вопрос офицера, как солдат ночью нашел среди танков бабу, тот ответил, что, мол, слух такой прошел, будто начальство распорядилось подвезти до Орши какую-то женщину, и он на спор со своим экипажем отважился проверить сию версию. О голой заднице, увиденной из вагона, танкист промолчал.

«В конце концов, – подумал майор, – это дело командира эшелона – разобраться со своим донжуаном. А вот с тех, кто допустил неслыханное нарушение воинской дисциплины и посадил на поезд с танками посторонних, спрос должен быть строгим». Он уже с интересом стал рассматривать женщину с ребенком. Ничего не скажешь, хороша. Понять солдата можно. Вдруг он обратил внимание на нож в ножнах, который криво висел на расстегнутом поясе. Подошел к ней и вытащил нож. Он оказался немецким. Спросил у нее, откуда нож. Она ответила: «Ихь ферштее ниht», то есть «Не понимаю». Это была одна из десятка фраз и слов, выученных по настоянию Петра Дормидонтовича. Майор бросил нож на стол, где лежали Машины вещи, и обратился к ефрейтору – командиру жандармского наряда: «Впишите в протокол!» Потом повернулся к Маше и жестом показал, что надо застегнуть ремень. Она положила ребенка на стол, закрепила пояс, застегнула порванную кофточку на одну оставшуюся целой пуговицу и снова взяла на руки сына. Переводя взгляд с ее разбитого лица на разукрашенную физиономию

танкиста, майор понял, что сопротивлялась она отчаянно, и неожиданно проникся к ней чувством, похожим на некое подобие уважения. «М-да, однако, видать дамочка с характером,» – подумалось ему. Но эта «дамочка с характером», убитая случившимся, стояла, понуриив голову.

Вошел командир танкового батальона вместе со своим начштаба. Оба представились по всей форме. От сопровождавшего их жандарма они уже знали суть происшествия. Майор-танкист тоже был сильно разгневан и по той же причине, что железнодорожный комендант: подняли с постели из-за какого-то болвана – кобеля. Повернувшись к своему солдату, он, еле сдерживая себя, бросил ему:

– Твоя рожа мне мало знакома, кажется, из новичков. Кто ты?

– Механик-водитель второй роты первого взвода рядовой Шмундт.

– Хорошо, с тобой мы еще поговорим, – и обратился к военному коменданту вокзала: «Господин майор, какие проблемы вызвало это небольшое происшествие?»

– Проблема одна, господин майор, – ответил комендант, – присутствие в расположении воинского эшелона гражданского лица. Положение усугубляется тем, что, со слов вашего механика-водителя, приказ о посадке женщины с ребенком отдан вами или кем-то из ваших подчиненных.

Майор-танкист злобно посмотрел на своего солдата, стоявшего навтыжку, и буркнул:

– Ты не простой болван, Шмундт, а болван в квадрате, – глянув на хозяина кабинета, спросил: – Так что из того, что посадили женщину с ребенком?

– А то, что вы нарушили приказ. Полевая жандармерия, – комендант кивнул в сторону стоявшего рядом ефрейтора, – составила соответствующий протокол. Он будет мною подтвержден и отправлен по инстанции. У вас могут быть большие неприятности.

У майора-танкиста остатки сна окончательно улетучились, он обрел обычную форму, пропала и злость. Подумав немного, спокойно сказал:

– Господин майор, что могут стоять те неприятности, которые сулите вы мне, по сравнению с тем, что мы можем получить их на фронте. По моим сведениям, русские под Смоленском оказывают очень серьезное сопротивление. Там позарез нужны наши танки. У меня приказ более существенный, чем пускать или не пускать баб на поезд, – приказ быть под Смоленском завтра ровно в двенадцать ноль-ноль. Поэтому вместо обсуждения пустяка, обнаруженного вашими доблестными жандармами, хотелось бы поговорить о более серьезных вещах. А именно – почему наш эшелон стоит?

– Причина простая, господин майор: железнодорожные пути переложены в соответствии с немецкими стандартами ширины только до Орши. После Орши рельсы не переложены, поэтому пропускная способность их крайне ограничена: русских паровозов и подвижного состава в нашем распоряжении очень мало. В связи с этим вам предстоит следовать до Смоленска своим ходом или ждать, когда появится возможность погрузить ваши танки на русские платформы.

– От кого зависит конкретное решение?

Комендант посмотрел на потолок и туда же показал пальцем, потом добавил:

– Ну кое-что зависит и от меня.

– Теперь послушайте меня, майор. Могу ли я так неофициально обращаться у вас? – тот кивнул. – В ожидании решения я хотел бы предоставить вам несколько приятных минут. Вы хотите посмеяться? – тот снова кивнул. – Так вот я расскажу вам, как и почему я посадил на поезд эту молодую мать с ребенком. В Барановичах я заправлялся углем и водой. Само собой, зашел к тамошнему железнодорожному коменданту. Со мной был мой начштаба, – он показал на стоявшего рядом гауптмана. – Ваш коллега из Барановичей попросил довести до Орши эту фрау, – танкист повернулся к Маше. – Я наотрез отказался. Как вы сами правильно тут говорили, приказ – нельзя. А он, этот комендант, спросил меня, как я только что спросил вас, не хочю ли я посмеяться. Ну кто откажется лишний раз поржать во время войны! Я, естественно,

согласился. Тогда он стал зачитывать вслух одну бумажку. Когда он закончил, мы со своим начштаба покатались со смеху. Хотите, чтобы я прочитал вам ту же самую бумагу?

– Конечно, я готов, – с интересом ответил комендант.

Танкист повернулся к своему солдату и приказал: «Поиди вон!», потом обратился к Маше и спросил по-немецки: «Где та бумага? Разрешение на выезд». Она непонимающе уставилась на офицера. Майор досадливо поморщился. Вспомнив, как она в Барановичах прятала документ под лифчик, показал рукой, будто он шарит у себя за пазухой, и еще раз повторил: «Папир.» Это слово заставило спохватиться ее, оно входило в перечень немецких выражения, зазубренных ею. Маша торопливо вынула разрешение и передала его танкисту. Пока он разворачивал документ и начинал читать, она вдруг с ужасом осознала, в каком ненадежном месте хранила его. Она даже похолодела от мысли, что насильник мог порвать лифчик, и «папир» оказался бы потерянным навсегда.

Пока она про себя разбиралась со своим явным промахом по части хранения важнейшей для нее бумаги, обстановка в кабинете железнодорожного начальника заметно изменилась. По мере чтения разрешения на выезд лица всех присутствующих расплывались в улыбках. И когда майор-танкист закончил, грянул хохот. Смеялись долго, весело, от души. Отсмеявшись, все подобрали друг к другу. А Маша опять задалась вопросом: «Интересно, что же там написано такое смешное?»

– Майор, – обратился комендант к танкисту, вытирая глаза носовым платком. – Сейчас я распоряжусь, чтобы ваши танки, как только появится первая возможность, перегрузили на трофейные платформы. Негоже тратить драгоценный моторесурс на преодоление скверных русских дорог. – После небольшой паузы, глянув на Машу, добавил: – Что будем делать с этой фрау, которая намерена раньше нас добраться до Москвы?

– Я думаю, – ответил, смеясь, танкист, – поступить в соответствии с рекомендациями военного коменданта города Барановичи – посодействовать в ее движении на восток. В данном случае лучшая для нее помощь – отпустить на все четыре стороны.

– Согласен, – поддержал танкиста комендант и обратился к ефрейтору-жандарму: – Помогите ей собрать вещи, отведите в зал ожидания и отпустите, когда закончится комендантский час. Да, и не забудьте показать ей дорогу на Москву, – эти последние слова снова вызвали смех. – Протокол о задержании оставьте у меня.

Когда переходили в пустой зал ожидания, уже рассветало. Ефрейтор был предельно вежлив, но с его лица не сходила ухмылка. Нож он вернул. Маша покормила проснувшегося сына, еще раз переложила вещи и продукты. Вскоре снова появился жандарм, жестом показал на выход, проводил до привокзальной площади и обозначил, куда идти на Москву. Взвалив на себя тяжеленный ранец, взяв на руки сына, она пошла в указанном направлении. Орша была безлюдна. Миновала окраину. Ее никто не остановил. Впереди лежала дорога на Смоленск и далее на Москву.

Подальше от дорог

Она шла без остановки несколько часов – подальше от Орши, где натерпелась столько страхов. В пути чередовала – сын на руках, полный ранец на спине. Сын за спиной, часть груза, две сумки – в руках. Но все равно быстро уставала: груз для нее был слишком велик. Приходилось частенько останавливаться и плюхаться на обочину. Дорога, разбитая основательно и окутанная клубами пыли, была забита грузовиками с солдатами. По обочинам валялись разбитые советские танки, пушки, автомобили, перевернутые повозки. Людей встречалось мало. Деревни пугали своим полным безлюдьем, даже собак не было слышно. Никто ее не останавливал, не спрашивал документов, не пытался заговорить. Так она шла и шла, уже с трудом передвигая ноги. Наконец почувствовала, что сейчас упадет. Шутка ли! Такую тяжесть тащить на себе, не спать почти всю ночь и не есть со вчерашнего вечера! Не снимая ранца, присела у края дороги в тени старой березы, прислонилась к толстому стволу. И мгновенно заснула. Сын, устроенный на ее коленях и прижатый к животу, тоже крепко спал.

Проснулась Маша от кряхтения и елозенья Мишки. Сколько она поспала, не представляла себе. Но судя по тому, что солнце перешло зенит, продрыхала она немало. Ребяенок, как всегда, норовил высвободить ручки. Если это ему не удавалось, обычно начинал хныкать. Раньше он подавал голос, только когда хотел есть. Наедался и снова засыпал. Теперь он начинал иногда буйнить сразу после того, как пробуждался. И требовал к себе внимания. Но прежде хотелось свободы, и он прикладывал все свои силёнки, чтобы опростать сначала руки, а потом и ноги. Позже Маша сделала для себя интересное открытие: если держать ручки дитяти вольными, он, проснувшись, никогда не капризничает. Играет сам с собой, смеется, издает понятные ему только звуки. И лишь когда ему, видимо, надоедает быть одному или наступает пора завтрака – обеда – ужина, включает свою сирену – плач. Уяснив такую закономерность, она позже стала чаще укладывать сына в мешок совсем голеньким. Только между ног подвязывала пеленку. Чтобы не сгорел на солнце, надевала на него легкую светлую распашонку, а голову покрывала белой косынкой. В таком положении Мишка чувствовал себя прекрасно.

За время сна Машу никто не побеспокоил. Перейдя кювет, она вошла в лес, углубилась – подальше от дороги. Намеревалась, накормив ребенка, развести костер и приготовить что-нибудь горячее и плотное. Но так сильно захотела есть, что, махнув на все, спешно вынула из ранца оставшиеся яйца, лепешки, репу, отрезала увесистый кусок сала и, запивая водой из солдатской фляжки, слопало все, как говорится, в один присест. Съев, ощутила неистребимое желание вкусить еще. Испуганно подумала: «Боже, если так помногу жрать, то харчей хватит ненадолго.» Решив перетерпеть, расстелила одеяло, положила на него, полностью распеленав, сына, который продолжал бодрствовать и играть сам с собой, повесила сушить мокрые пеленки, механически отметив про себя, что свежих осталось очень мало, уже пора затевать постирушки. Мелькнуло: «При первой же речке». Достала нитки, иголку, запасные пуговицы, привела в порядок вязаную кофточку, разорванную скотом-немцем.

В лесу было хорошо, прохладно, комары особо не досаждали, после сенокосной поры их становилось заметно меньше. Вспомнив немецкого танкиста и его расквашенный нос, удовлетворенно хмыкнула, мысленно поблагодарила дядю Петю за мужские штаны и за портупею, которые ее здорово выручили при нападении насильника. Прилегла, притянула к себе Мишку, поиграла с ним, поговорила. Глянув сквозь листву на солнце, она подумала, что хватит нежиться, пора идти, а то с такими темпами ей до холодов не добраться до Москвы. Собрав и уложив пожитки, снова двинулась в путь.

... Уже почти при выходе из большого села ее остановил молодой полицай лет двадцати пяти, белобрысый, розовощекий, побритый, с тонкими светлыми усами, с нарукавной повязкой, но без оружия. Смотрел начальственно. Потребовал документы. Мишка был на руках,

спал, она положила его на обочину дороги, достала из заднего кармана советский паспорт. Полицай полистал его, заглянул в раздел, где значится прописка, спросил: «Что, из самих Барановичей топаешь?» Она кивнула головой. «Куда?» Сказала, что в Смоленск, там ее родители.

– Вот что, мать, – развязно заявил он, – советский паспорт – уже не документ. Советской власти больше нет. У тебя есть аусвайс? – она отрицательно покачала головой. – Ну вот видишь, ты незаконно передвигаешься по немецкой территории. Придется тебя забрать и допросить.

Маша похолодела. Она не стала показывать ему разрешение на выезд, справедливо полагая, что тот не знает немецкий. Пришлось лезть в карман за «папиром». Полицай разглядывал документ, что называется, как баран новые ворота. Он и так, и эдак вертел его и, наконец, спросил: «Что это?»

– Это разрешение на выезд из города Барановичи и на прохождение по оккупированной территории, – Мишка подал голос, и она взяла его на руки...

– А может, это фальшивка? – усомнился полицай.

– Как это фальшивка! Смотри, там печать военной комендатуры и подпись военного коменданта.

– Не знаю, не знаю, мать, надо разбираться, – он продолжал вертеть в руках бумажку, подозрительно поглядывая на Машу. – Вот что, пошли-ка в полицейский участок.

У нее подкосись ноги. Она испуганно смотрела на полицая, не зная, что ей предпринять. Вдруг увидела, что из центра села в их сторону едет немецкий грузовик без солдат. Когда машина приблизилась к ним, Маша выскочила на середину дороги и, прижимая одной рукой сына к груди, другой замахала. Автомобиль остановился. Кузов его был заполнен какими-то ящиками, в кабине сидело трое.

– Что случилось? – спросил по-немецки шофер, высунувшись из открытого окна.

Маша, вырвав разрешение из рук полицая, пытаясь использовать свой крайне скудный запас немецких слов и выражений, с помощью жестов начала объяснять солдатам, что этот с повязкой не пускает ее и говорит, что «папир ист фальш». Водитель доброжелательно дал понять ей, чтобы она передала ему «папир». Сначала он бегло пробежал его глазами, заулыбался, потом что-то сказал своим напарникам. Судя по всему, предложил им послушать, что написано в документе, и стал громко читать. Как только он произнес последнюю фразу, раздался дружный хохот. Когда он поутих, один из пассажиров, видимо, попросил прочитать еще раз. На это раз солдатский гогот оказался столь оглушительным, что из соседних изб повозники бабки с детками. Когда немцы успокоились, они о чем-то коротко переговорили между собой. Шофер вышел из кабины, улыбаясь и протирая глаза носовым платком, вернул Маше «папир», похлопал ее слегка по плечу, подошел к полицая, схватил его за шею, пригнул к земле и, отойдя на несколько шагов, разбежался и пнул того сапогом в зад. Полицай свалился в кювет и в ожидании худшего лежал, не шевелясь. Немец предложил подвезти ее, помог ей взобраться на кузов, передал ей ребенка и ранец. Грузовик тронулся с места, оставляя позади себя изумленных бабуль, ставших невольными свидетелями позора и унижения их односельчанина. «Господи, опять пронесло, – промелькнула в голове Маши. – Нет, наверное, все-таки я в рубашке родилась.» Вспомнив, как хохотали немцы, снова задалась вопросом: «Что же, интересно, такое написано в разрешении? Кто ни читает, все ржут». Размышляя над опасным происшествием, решила обходить большие села. Часа через два, покрыв изрядное расстояние, грузовик повернул направо, остановился, и шофер, все еще улыбаясь, дал ей понять, что надо сходить, принял у нее ребенка и ранец, на прощание сказал, смеясь: «Будем ждать вас в Москве» и помахал рукой. С востока доносился отдаленный грохот взрывов. В той стороне скорее всего находился Смоленск. Там шли бои. Маша свернул налево на грунтовую дорогу, намереваясь обойти район сражений. Проселок сначала повел ее на север, потом повернул чуть на восток. Пройдя несколько часов, углубилась в лес, где устроилась на ночлег.

... На другое утро она увидела очередную деревню. А, может, опять большое село? Чтобы выяснить это, Маша вошла в лес, решив оттуда определить размеры населенного пункта. Приближаясь к нему, сквозь деревья услышала впереди какой-то шум. Ступая осторожно, пошла в ту сторону. Чем ближе, тем явственнее слышались голоса. Не просто голоса, а выкрики, мужские, изредка женские. Скоро стало ясно, что говорят, нет, кричат по-немецки, причем орут пьяные и довольно сильно. Любая русская женщина может на расстоянии по голосу определить степень опьянения мужиков. Маша сделала еще несколько шагов, лесок заканчивался, сквозь деревья показались избы. В одной из них разыгрывалась драма, единственной зрительницей которой оказалась Маша. Драма, которая завершилась трагедией и громадным горем. То, что она увидела, ужаснула ее.

Во дворе бесчинствовали несколько пьяных солдат. Один обухом топора крушил стекла в окнах, другой руками брал из кучи навоз и бросал его в колодец, третий бил ногой стоявшую на коленях старуху, она падала, немец за волосы поднимал ее и снова с силой ударял сапогом по спине. При этом пьяные, видимо, чем-то сильно разгневанные, изрыгали ругательства. И тут из-за угла избы показался еще один солдат, который волочил за волосы молодую женщину. Она крепко держала в своих объятиях мальчика, наверное, с годик, который вопил что есть силы. Кричала и его, похоже, мать. Увидев их, те трое бросились им навстречу, один из них вырвал ребенка, схватил его двумя руками за ноги, раскрутил и ударил головой о бревенчатую стену. Душераздирающие вопли – молодой и старой, возможно, бабушки – огласили окрест. Не обращая внимания на двухголосные стенания, солдаты схватили мать убитого ребенка за руки и за ноги и потащили в дом. Слышно было, как ей затыкали там рот, но рыдания и крики прорывались наружу. Наконец стихли. Только старуха, лежа на земле, тихо выла, как на похоронах.

Маша, едва успев схватиться руками за ствол тонкой березы, стала медленно сползать на колени. И заплакала – тихо, тоже погребальными слезами. Плакала долго, оплакивая и горе неизвестных ей людей, и свою горькую долю, выпавшую ей с началом этой проклятой войны. В чувство привел ее голос сына, раздавшийся из-за спины. Испугавшись, что убийцы и насильники обнаружат их, она покинула страшное место, обошла деревню стороной, далеко углубилась в лес, стащила с себя ранец и бросилась на землю, прижав к себе сына. В ушах продолжали раздаваться жуткие крики несчастных. И она снова заплакала. Плакала и никак не могла остановиться. Наступило время кормить сына. Кормила, а слезы продолжали литься. «Нет, нельзя заходить ни в одну деревню, – подумалось ей. – Как в тридцать первом году. Пропадешь. Идти только лесом или опушками. Подальше от дорог. Подальше от людей.»

Покормив ребенка, двинулась дальше. Шла, торопясь уйти от того жуткого места. Не заметила, как в лесу стемнело, хотя небо еще светилось. Уже было поздно собирать хворост, готовить ужин, да и силы, душевные и телесные, иссякли вконец. Маша достала последнюю лепешку, репу, отрезала кусок сала и, запивая водой из фляги, стала есть – без охоты, машинально. Отметила про себя, что осталась одна фляга с водой. Покончив с едой, нарвала елового лапника, расстелила его толстым слоем, накрыла сверху одеялом, надела на себя все теплые кофточки и свитер, на головку Мишки – теплую шапочку, набросила на него и себя вторую половину одеяла и, засыпая, вспомнила о наказе дяди Пети – в лесу обязательно носить парусиновую куртку расстрелянного советской властью Стасика.

Утром было принято окончательное решение – идти, минуя не только населенные пункты, но даже дороги, идти глухоманью – так, как шла ее семья десять лет назад из своей калужской деревни в столицу. Двигаться строго на восток. Маша хорошо запомнила приемы, которыми руководствовался ее отец, ведя за собой своих домашних. Она знала, как определить, где север и где юг: в ясную погоду ночью можно по Полярной звезде; муравейники всегда располагаются с южной стороны деревьев; мох предпочитает северную сторону стволов. Чтобы не плутать, двигаться по прямой, надо впереди, в пределах видимости намечать какой-нибудь заметный ориентир – самое высокое дерево, или поваленный ствол, или единственную, ска-

жем, березу среди елей. Ни при каких обстоятельствах не пытаться переходить болото, искать только пути обхода, пусть даже на это будет потрачено несколько дней.

Маша набрала хвороста, разожгла костер. Сварила гречневую кашу с салом, попила чай вприкуску – впервые за два дня поела горячее. Про себя уже с тревогой отметила, что и вторая фляга начинает пустеть. Сын лежал совершенно голенький на одеяле, расстеленном на маленькой солнечной полянке. Она установила, что осталась последняя свежая пеленка и только два чистых ползунка. Требовалось найти воду и как можно быстрее. В лесу стояла полная тишина. Даже верхушки самых высоких елей были неподвижны. Ожидался очень жаркий день.

... Маша шла уже несколько часов, обливаясь потом. Примерно через каждые полчаса сбрасывала ранец и падала на землю. Тащить столько груза на себе было тяжело. Вариант, когда ребенок находился за спиной, а часть продуктов на руках, не подходил: требовалось то и дело руками отодвигать ветки деревьев и кустарников, перелезть через поваленные стволы, покрытые мхом и оттого мокрые и скользкие. Поэтому все пришлось переть на своем горбу. Дневной зной и духота удваивали нагрузку. К полудню выбилась из сил. Возникло желание поест. Отказала себе. Дала слово – принимать пищу два раз в день, утром и вечером, ради экономии.

По дороге стала замечать молоденькие подосиновики и подберезовики. Правда, еще крошечных, с женский мизинец. Все равно это ее обрадовало – дополнительный и, главное, даровой харч. Видела раньше и сыроежки, но они ее не интересовали: не столь сытные. А подберезовики и подосиновики стала подбирать. Вспомнила, как крепко выручили их грибы в том двухмесячном переходе на Москву десять лет назад. Однако помогали они только поначалу, когда казалось, что на одних лисичках и белых можно прожить если не век, то месяц-другой уж точно. Когда же вся семья в течение трех недель с хвостиком вынуждена была кормиться одними грибами да еще без соли, настал день, когда двигаться дальше могла только мама: у остальных ноги отказывались ходить, в том числе и у отца. Все отошали так, что ребра выпирали, как обручи на бочках, особенно у мужиков – у родителя и ее братьев. Спас их тогда от верной гибели случайно встретившийся лесной ручей приличной ширины – до двух метров. Отец споро смастерил из маминой вязаной кофточки нечто наподобие маленького невода и, со старшим сыном походив по руслу верх-вниз, часа за полтора наловили с четверть ведра пескарей и другой мелочевки. Маша на всю жизнь запомнила, как у нее дрожала рука с ложкой, когда, обжигаясь, пыталась захватить ртом это варево. Но оно оказалось пищей богов, хотя приходилось то и дело выплевывать мельчайшую чешую и микроскопические плавники, которые никак не желали проглатываться и отметались автоматически. И так называемая уха совсем стала изысканной, когда по совету отца на язык подсыпали щепотку золы, заедая ее супом из пескарей.

Невеселые воспоминания были прерваны встречей наяву с долгожданной речушкой. Собственно, это был скорее ручеек, даже ручеечек. Но он струился, слегка извивался и легонько бежал куда-то на юг. Маша напилась и наполнила обе фляги. Сняла парусиновую куртку и лифчик и, зачерпывая руками воду, опрыснула свое потное тело по пояс. Прикинула: такого манюсенького ручейка недостаточно, чтобы постирать все пеленки, свою нижнюю одежду и помыться обоим. Решила идти вдоль ручья по течению вниз в ожидании, когда ручеечек станет более полноводным.

Тащится пришлось долго. Этот родничок никак не хотел превращаться в речку. Наконец-то он вобрал в себя один, потом второй источник. А вскоре обнаружилась небольшая впадина, что-то вроде ямки. Самый раз – натуральный тазик! Едва скинув ранец и выпростав сына из заплечного мешка, она первым делом быстренько прополоскала все пеленки. «С мылом постираю потом, завтра», – подумала она, вывешивая по веткам мокрое детское белье. Разделась полностью, осталась нагой. Босой походила по ручью. Услышав, что сын проснулся, немного поколебавшись, окунула его с головой в ямку с водой и мгновенно вынула. Ожидала,

что последует рев. К ее удивлению, Мишка одарил ее веселым смехом. Он ручками проводил по своему лицу, пускал пузыри и смеялся. Обтерев его полотенцем, завернула в свою легкую светлую кофточку – запас чистых и сухих пеленок иссяк. «А завтра, зайчик, я тебя искупаю теплой водой и мылом, – подбросила кверху и уложила на одеяло. – Ну, а теперь ням-ням.» Накормила, поиграла.

И в это время до нее донесся странный звук. Он шел с той стороны, где ручей исчезал в кустах. То был стон – не стон, зов – не зов, тихий, жалобный, едва слышный. Возник и пропал. Маша, прижав сына к груди, настороженно смотрела туда, где явно находилось живое существо. Зверь? Нет, скорее человек. А, может, показалось? Стояла тишина. Предзакатная лесная тишина. Наверное, все-таки померещилось. Слава богу! Но звук повторился. Похоже было, что кто-то подавал голос: «А-а-а!» Но очень слабо, еле-еле. Будто пытался дать знать о себе, но не хватало силенок. У Маши гулко заколотилось сердце. «Господи! Что это? В такой глуши!» Опустила сына на одеяло, снова надела брюки, ботинки, парусиновую куртку, взяла ребенка на руки и, тихо ступая, пошла вдоль ручья, но чуть сторонкой, обходя густые заросли кустарника и крапивы. Метров через пятьдесят снова услышала тихое «а-а-а», но уже отчетливее. По интонации голоса кто-то определенно давал знать о себе. Явная немощь, улавливаемая в зове, придавала Маше смелость. Она уже увереннее отправилась дальше, крепче прижимая к себе Мишку. А тот все улыбался, пытался ручками достать ее лицо, ее волосы, спадавшие на лоб.

То, что увидела она, заставила ее содрогнуться. Рядом с шалашом из еловых лапников, почти у самого ручья лежал на спине военный, судя по португее, командир. В правой руке он держал солдатскую кружку. Лицо заросло густой светло-грязной щетиной. Левая нога была без штанины, но обута в сапог. Чуть выше колена чернела широкая грязная повязка. От служивого исходил сильный запах немытого тела и гноя. Он с мольбой смотрел на остановившуюся Машу. Она проворно положила сына на траву, опустилась на колени перед раненым. По петлицам узнала – старший лейтенант. Промелькнуло: «Как Вася». Комок застрял в горле.

– Что случилось? Как вы оказались здесь, в глухомани? Почему одни?

Он молчал, не отрываясь, смотрел на нее, из его глаз потекли слезы.

– Вы не можете говорить?

– Могу, – еле слышно произнес он.

Снова наступило молчание. По его лицу было видно, что он силится что-то сказать, но, видимо, ему не хватало на это сил или его мучили боли. Наконец, он едва слышно произнес:

– Я умираю... Рана... на ноге... Видать, гангрена... Гниет она... Полна червей... Не емши... много... дней... Много... Вот только вода, – он шевельнул рукой с кружкой.

Помолчал. Вытер свободной рукой глаза. Собрался с силами и продолжил:

– Воевали... Окружение... Пробивались... Рана... от большого... осколка. Бойцы тащили... моего взвода... Здесь... я приказал... пристрелить меня. Они... отказались. Приказал больше не тащить... оставить... меня здесь. У воды... Они сами... сильно... отощали... Без харча... много дней. Хотел... сам застрелиться... Духу... не хватило... Вот... теперь... умираю... как... недобитый... зверь... Прости, сестричка... что... потревожил... Услышал... голоса... детский... женщины... Людей... хотелось... увидеть напоследок, – и он закрыл глаза.

Маша вытащила из ножен нож, разрешила узел на повязке, развернула грязное тряпье, которое когда-то считалось бинтом. Рана была огромной. Увесистым осколком выше колена срезало часть бедра величиной с чайное блюдце. «Хорошо, что спереди, нет здесь ни связок, ни артерии», – подумалось машинально. Она сняла сапог и остаток штанины, прощупала ногу от паха до ступни. Не было и намека на гангрену. Только вокруг раны на коже просматривалось покраснение. Температура тела нормальная. Рана гноилась. Но она кишела личинками мух. Это хорошо. Это его спасение. Так почему же он такой слабый? И вдруг ее осенило.

– Вы сколько дней здесь лежите?

– Десять или... Не знаю точно...

– И все эти дни не ели?

Он отрицательно покачал головой. Потом добавил:

– И еще... несколько дней... до этого.

Ясно, если он не умирал, то сильно ослабел от голода. Решение пришло мгновенно. Она сняла с себя парусиновую куртку, сбросила лифчик, присела к нему с левой стороны, повернулась к нему, сколько могла, правой рукой схватила раненого за шею, подняла его голову и приставила его рот к соску.

– Пей, – скомандовала она, – соси, не стесняйся, – а левой рукой надавила на грудь. Молоко закапало и упало ему на губы. Он машинально облизал их. Старлей, почувствовав давно забытый вкус, плотно приложился к груди, щеки его заработали. Он открыл глаза.

– Пей, не стесняйся! – еще раз подбодрила его. Но он так впился, что ей стало больно.

– Не так сильно, потише, а то мне больно. Вот так, еще нежнее, – дирижировала она.

Она знала, что молока у нее мало: только что покормила ребенка. Надежда была на то, что у нее всегда оставался запас, и она обязательно сцеживала излишек. Конечно, он для взрослого мужика – капля, но сейчас и капля для него спасительна. Через час-другой сварит какой-нибудь супчик. Она отняла грудь, убедилась, что она пуста, прилегла с другой стороны, дала ему другую грудь. Маша, глядя на заросшее, грязное чужое лицо, усердно работающее губами, вспомнила другую голову, родную, любимую, которая порой вот так же прикладывалась к ее соскам по ночам, произнося одну и ту же фразу: «Надо помочь сцедить лишнее молоко». В процессе такого «сцеживания» ее бросало в дрожь, потом наступало блаженство, которое достигало высшей своей точки в последующих крепких объятиях. А сейчас она не испытывала ничего, кроме чувства удовлетворения от того, что помогает человеку, попавшему в беду. Заметила, что на его лбу появилась испарина, щеки, там, где они не были покрыты щетиной, слегка порозовели. Почувствовав, что грудь опустела, Маша поднялась.

– Через часок-другой я приготовлю супчик. Раньше нельзя. Очень опасно. Надо потерпеть. А потом постепенно войдем в норму. – Спросила: – Как тебя звать?

– Николай... Коля.

– Меня Маша. Вот что Коля. Рана у тебя хорошая. Сама я медсестра. Окончила медучилище. Никакой гангрены даже и близко нет. Больше того, рана твоя заживает. А что там копошится в ней, это не черви, это личинки мух, иначе опарыши. Ты ловил когда-нибудь рыбу?

Он кивнул.

– А на опарыша?

Он кивнул, и что-то наподобие улыбки мелькнуло у него на лице: может быть, вспомнились безмятежные довоенные дни.

– Ну вот видишь, была бы сейчас удочка и речка побольше нашей, – она кивнула на ручей, – мы бы имели собственный рыбий корм. Сидели бы на бережку, брали бы опарыши прямо из твоей раны и забрасывали удочку, – Маша рассмеялась. Заулыбался и старший лейтенант. Приняв крошечную дозу съестного, полуживой голодный организм начал восстанавливать свои душевные силы, пока душевные, а они – залог телесной мочи.

Неожиданно она сама ощутила сильный голод. Ничего неожиданного в том не было. Как позавтракала утром, с тех пор в рту – ни маковой росинки. Так захотелось есть, что у нее стали дрожать руки, появилась слабость в ногах. «Нет, так дело не пойдет, – размышляла она, разжигая костер. – В полдень надо хоть сухарик-другой погрызть. Такая экономия может мне выйти боком. Уж больно груз для меня велик. Кабы не сломаться». Начала варить гречневую кашу. Опять каша! А что еще? Завтра утром сварит горох, не забыть замочить его. Сняв кастрюльку с кашей, ушла с ней за кусты, чтобы не мучить – не дразнить раненого. Все же не вытерпела, вернулась к ранцу, вытащила кусок сахара, подошла к Николаю и вручила со словами: «Только соси, медленно, можешь даже лизать, еще лучше.» Взяла его солдатскую кружку, возвратилась к костру, налила чаю, передала больному. И только после этого, все еще в кустах, спокойно

и не торопясь принялась за ужин. Доедая кашу и запивая ее сладким чаем, Маша прикидывала, чем кормить старшего лейтенанта. Нужен бульон, супчик, какая-нибудь любая жидкость, заправленная чем-то съедобным, но протертым, перемолотым, процеженным, калорийным, но не очень. Откуда взять такое диетическое блюдо в лесу? Вдруг вспомнила о тушенке, говяжьей тушенке. Вот неплохая стряпня для дистрофика в наших условиях! Сливаем жидкость из банки, какая есть, откладывая весь жир, смешиваем с водой, предварительно проварив в ней молоденькие грибы и крапиву, удаляем их, получаем идеальный питательный бульон. Можно размочить и сильно размять маленький кусочек черного сухаря без корочки. Молодец! Похвалила сама себя Маша.

Похвалила и горестно задумалась. Банки тушенки – ее НЗ. Последний резерв. Рассчитывала использовать его, когда станет совсем невогноту. Господи, как не хотелось ей вскрывать консервы! Если бы она была одна, как-нибудь вывернулась бы. Но все предназначалось для сына. Она сыта – есть молоко, она голодна – мало молока. Имеет ли она право рисковать благополучием своего ребенка ради жизни или здоровья чужого, совсем незнакомого человека? Дядя Петя наказывал ей, чтобы она ни с кем и ничем не делилась. Боже, подскажи, что делать? Терзалась, а сама машинально крошила в воду грибы и крапиву, поставила на огонь, вскрыла консервную банку, словом, приготовила все точно по рецепту, сочиненному ею накануне. Выждав еще время, вытащив из кастрюльки все твердые фракции и съев их, налила супчик в кружку и подошла к Николаю. Поставив кружку подальше от себя, схватила его сзади под мышки, подтащила к стоявшей рядом березе и прислонила к стволу. Не доверяя его рукам, сама крепко держа кружку, опустилась на колени и поднесла к его рту. Он сразу же сделал жадный, крупный глоток. Маша отстранила кружку и строго сказала:

– Только мелкими глотками и делай вид, что ты что-то жуешь. Глоток и жуешь, потом окончательно глотаешь. Давай по-новому.

Выпив содержимое кружки, старший лейтенант запрокинул голову, упершись затылком о ствол березы, и заплакал. Маша погладила по его грязной всклокоченной голове, постояла еще немного вот так на коленях, потом отошла к костру. Ее ожидала гора дел – вымыть посуду, замочить горох, сходить на старое место за детским бельем, развешанным сушиться, постирать бинты, снятые с ран, постирать, тоже с мылом, его портянки, не забыть вырыть ямку для вскрытой банки с тушенкой – ее главного лекарства для красного командира, чтобы какое-нибудь мелкое зверье не сожрало ночью, и обязательно накрыть это место одеялом. Перед сном надо ему вымыть ноги, затащить в шалаш, накрыть вход лапником. Мать честная! Сколько дел! И выполнив намеченное, перед сном бросив в костер побольше хворосту, напялив на себя все теплое, придвинув к себе Мишку, укрывшись второй половинкой одеяла, мгновенно заснула.

... Проснулась она от какого-то далекого, очень далекого шума. Шума, похожего на тракторный. Он приближался и превращался в гул, сплошной машинный гул. Становилось ясно, что движется колонна танков или грузовиков. Вот они совсем недалеко, наверно, в километре. Потом грохот стал уменьшаться, удаляться и исчез. Значит, где-то здесь рядом дорога. Место опасное.

Маша потянулась, взглянула на небо. Оно было светлым-светлым. Похоже, солнце взошло давно, но еще прячется за верхушками деревьев. Вот это поспала! И только сейчас вспомнила о сыне. Ба! Да он не разбудил ее в полночь. Впервые со дня его рождения он не потревожил ее! Повернулась к ребенку и увидела его веселые глаза и отцовскую улыбку. Да ты, оказывается, проснулся и ни звука! Какой молодец! Дал маме поспать. Да ты ведешь себя, как большой мальчик! Ну, доброе утро, дорогой мой! Здравствуй, мой зайчик! Сейчас мама сбегает кое-куда за кусты, потом оденет тебя в чистые ползунки и распашонку, и мы позавтракаем.

Вернулась, увидела – из шалаша самостоятельно выползает Николай. Не сразу, с трудом встал на ноги. Поздоровался, заулыбался:

– Вот видишь, уже почти хожу. Спасибо тебе, сестричка. Но пока я все же посижу у дерева.

Гороховый суп получился на славу! Как и в прошлый раз, Маша сварила молоденькие грибы и крапиву, вынула их, слила жидкость, положила туда чуть-чуть жира, кусочек мяса, несколько размятых горошин, один сухарь, но уже побольше вчерашнего, размешала, подогрела и в кастрюльке с ложкой отнесла к Николаю. Устроившись в сторонке, ела свой горох с салом и сухарями и украдкой поглядывала на раненого. Тот поглощал свой завтрак медленно, согласно ее инструкции, время от времени поглядывал на хозяйку, улыбался. «Видать, сильный человек», – подумала Маша. Уж кто-кто, а она знала, как нелегко голодному вот так спокойно, «согласно указаниям» поглощать пищу, которую зверски хотелось проглотить в один присест. Принесла чай с сахаром, села рядом, тоже с кружкой. Сынок лежал на одеяле, мурлыкал что-то свое.

– Ну что, получше стало?

Он согласно кивнул головой, потягивая чай и облизывая рафинад.

– Рана твоя за ночь стала получше. Гной уменьшился. Это все жрут его личинки.

– Щекотно только. Так и хочется их выбрасывать.

– Ни в коем случае. Они – твое спасение. Они вылизут рану подчистую. Ни капельки гноя не оставят. Допьешь чай, перевяжу ногу. Вот только второй штанины нету, плохо.

Немного помолчали.

– Откуда и куда ты идешь, Маша?

Она рассказала. Вдруг вспомнила:

– Ты слышал шум, какие-то машины или танки недалеко отсюда проезжали?

– Слышал. Это немцы. Наверняка ищут таких, как я, из окружения. С этой стороны много выходило наших. Бои были. Я слышал.

– Тут дорога рядом?

– Мои бойцы, перед тем как покинуть меня... по моему приказу, доложили мне, как смотрятся окрестности. Значит, так. Там, на востоке, откуда шел шум, лес заканчивается. Вдоль опушки идет грунтовая дорога, примерно с юга на северо-восток. Справа от нас – деревня. Между деревней и лесом – большое картофельное поле. За ним – то ли ячмень, то ли пшеница, словом, зерно. Такую картину мне нарисовали мои бойцы. Так ли, не так ли на самом деле, не знаю.

– Картофельное поле, говоришь, – задумчиво произнесла Маша. – Значит, колхозное... Видела под Оршей, уже цветет картошка, значит, что-то есть. Так, так...

Она решительно встала, сходила за хворостом, снова разожгла костер. Вымыв посуду, поставила греть воду. Перевязала ногу Николаю. Искупала Мишку, постирала, уже с мылом, все пеленки, свое нижнее белье. Вытащила из ранца все вещи, положила туда продукты, повесила на ближайшую ветку – от случайного зверья, накормила сына, запеленала его, высвободив ручки, надела парусиновую куртку, засунула в карман брюк матерчатую сумку, взяла на руки Мишку, подошла к Николаю, заявила:

– Я пошла за картошкой, – сказала так, будто засобиравшись в свой огород, который за углом.

Старлей испуганно посмотрел на нее.

– Там опасно, могут быть немцы.

– Увижу их, дальше не пойду.

– А зачем брать дитя? Оставь его здесь, я присмотрю.

– Тебе не понять, ты мужик. А я мать. Никак не могу оставить грудного одного.

Повернулась и направилась туда, откуда утром доносился шум машин. По пути надламывала ветки – ориентиры для безошибочного возвращения.

... Перед ней простиралось большое картофельное поле. Оно цвело, издавало такой опьяняющий тонкий запах, что никаким духам не сравниться с особым здешним ароматом. Справа, южнее, километрах в двух виднелась деревня. Проселочная дорога, идущая влево вдоль опушки, терялась где-то вдаль; может, даже заворачивала в лес. Окрест не видно было ни души. Правда, всмотревшись в рядки ботвы, она увидела человеческие тела. Маше стало страшно. Видно, здесь и шел тот бой, о котором говорил Николай. Но почему на открытой местности? Может быть, их, решивших пожить картошкой, и обнаружили здесь немцы? Она положила свой спящий дорогой сверток за кустами, на приметном месте, на четвереньках перешла дорогу, чуть проползла вдоль грядки и лежа начала орудовать немецким ножом, подкапывая корни. Замечательно! Клубни были величиной уже чуть больше голубиных яиц. Она проворно запикивала их в сумку, время от времени поднимая голову, вертя ею по сторонам и чутко, как зверь, прислушиваясь, нет ли знакомых звуков со стороны кустов, где лежал сынок. Авоська была уже полна, и она повернула назад, но неподалеку увидела труп. Мелькнула отчаянная мысль: брюки! Взять брюки для Николая! Ведь без них он со своей раной – никуда. Маша, оставив сумку, еще раз оглядевшись, поползла к мертвому солдату. От него исходил жуткий запах. Ее чуть было не вырвало, разболелась голова, от страха тряслись губы. Труп лежал головой вниз. Маша ножом разрешила со спины поясной ремень, нащупала ширинку, растянула ее, разрешила обмотки и шнурки на ботинках, сняла их, потом стянула брюки. Еще раз оглянувшись, поползла к сумке и, подтягивая ее, взяла курс на лес.

Свое пристанище по приметам нашла быстро. Николай только головой качал от удивления. Он все еще неподвижно сидел, прислонившись к березе. Маша развела костер, сварила суп для больного, положив туда очищенные и мелко нарезанную картошку, крапивы, два сухаря и уже три кусочки тушенки, а для себя – картошку в мундире, много, большую кастрюлю. Обед для обоих выдался на славу. Полежав немного, раненый примерил брюки. Они были чуть велики, но это, как он отметил, лучше, чем если были бы малы. Еще и еще раз поблагодарил Машу. Стал ходить, медленно, осторожно, будто боясь упасть, прихрамывая, но двигался. Предлагал даже помощь по хозяйству Маше. Та, подумав, показала на хворост. За день он натаскал гору. Конечно, частенько отдыхал. Маша из остатков левой штанины сшила что-то наподобие мешочка, проткнула его во многих местах ножом, показала Николаю, как, идя вдоль ручья, с помощью такого малюсенького невода можно ловить пескарей и мальков. Сам он, как сообщил о себе, был из городских, из Саратова, хоть и был рыбак, но любитель, ради, как говорится, времяпрепровождения. Поэтому тонкости выживания в лесу ему были малоизвестны. Маша сказала ему, что завтра она пойдет дальше, топтать еще долго, боится предстоящих холодов. Картошку оставляет ему всю, следующим утром себе еще накопает. Выяснила, что у него, кроме шинели, есть солдатская баклашка, каска, которую можно использовать как кастрюлю, ложка, складной перочинный нож, заправленная бензином зажигалка, неполная коробочка спичек. Она выразила готовность дать немного соли, треть куска хозяйственного мыла, при этом порекомендовала после их с Мишкой ухода разогреть в каске воду, вымыться с головы до ног, постирать исподнее белье. А когда выздоровеет, ночью или в сумерках сходить на картофельное поле, поискать у убитых нужные вещи, хотя бы пилотку, потому что он остался без фуражки. Там же валяются и винтовки. Также она разъяснила старшему лейтенанту, что, кроме пескарей и мальков, можно смело употреблять в пищу кузнечиков, дождевых червей, муравьиные яйца, которых полно в муравейниках («похожи на рис», – добавила она). Растолковала, как можно использовать молодые побеги рогоза, что растут у болот, корни озерного камыша. Можно смело есть листья одуванчиков (Маша сорвала при нем один листок и начала жевать). Словом, если приплюсовать картошку с колхозных полей, можно смело идти на восток, когда окончательно заживет рана. Николай слушал ее с огромным вниманием. Огонек надежды загорелся в его глазах.

Вечером он наравне с Машей ел вареную картошку, запивая сладким чаем. Но она не дала ему обжеститься, с кастрюлей отошла в сторону, сказав, что еще рановато много есть. С завтрашнего дня – можно. После ужина небо начало заволакивать тучами, они густели, темнели, наливались дождем. Подул сильный ветер, порывами. «Будет гроза, – сказала Маша, – переходим в твой шалаш. Помоги собрать вещи». Вытащила из ранца домашнюю клеенку, набросила на еловые лапники – кровлю, притащила толстые сухие ветки, положила сверху, чтобы не унесло накидку. Принесла несколько охапок лапника и запихнула в шалаш. Как только все втроем втиснулись в него, хлынул ливень.

Дождь шел долго, не переставая. Потом по клеенке застучал град. Снова грянул поток воды. Стало ясно, что придется ночевать в шалаше. Высказав эту мысль вслух, Маша начала готовить постель. Клеенка выручала здорово. Лишь со стороны входа порывами ветра забрасывало горсти дождя. Маша завесила «дверь» легкой летней кофточкой. Подложив под голову ранец, пристроив сына между собой и Николаем, легла, как всегда, укрыв его и себя второй половиной байкового одеяла. Старлей укрывся шинелью. Июль-июлем, а в грозу заметно похолодало.

– Ну, теперь пойдут грибы, и для тебя, и для нас с Мишкой хорошее подспорье, – произнесла она.

– Да, это неплохо.

– В этих лесах много малины, я не стала рвать специально, сильно усталая была, в рот по пути бросала. Но ты имей в виду. – Потом без всякой связи спросила: – Ты к своим будешь пробираться или как?

– Само собой, буду идти на восток. Мне ничего не остается делать. В плен не хочу. Ну никак не хочется.

– А немцы уже под Смоленском.

– Ничего не могу понять – через три недели после начала войны уже в Смоленске, – в раздумье проговорил Николай. – В голове не укладывается. Когда мы выходили из окружения, видели на дорогах огромные колонны пленных, много наших брошенных танков, орудий, пулеметов и винтовок. И что самое обидное, – он приподнялся на локтях, – часть всего этого вооружения целое, с боеприпасами. В нашей группе окруженцев было два артиллериста, они проверили: на некоторых пушках не только затворы, но и прицелы были целы, а рядом снаряды. Заряжай и стреляй. Боец моего взвода, бывший тракторист, смог завести даже наш танк, и не простой танк, а какой-то новый, огромный, с большой пушкой, толстой броней. Таких танков, служа в армии, в мирное время я не видел. Немецкие танки по сравнению с этим нашим ну... просто... моськи рядом со слоном. И все это, такое грозное, исправное, брошено. Не понимаю. Ничего не понимаю, – и он снова лег на спину.

– Мне странно слышать от тебя такие слова. Ты-то сам не на фронте, а далеко от стрельбы. Конечно, ты раненый и тяжело, но бойцы твоего же взвода и те два артиллериста, другие солдаты и командиры в бегах. Попросту говоря, драпайте. Драпайте да еще осуждаете других. Как-то нескладно получается.

– Эх, Маша, конечно, теоретически ты права. Ты права, потому что не знаешь, что именно мой взвод, моя рота, весь мой батальон сражались до последнего. До последнего снаряда и патрона. Мы немало уложили фашистов, подбили много их танков. Через наши боевые порядки они не прошли. А вот слева и справа прорвались, и мы оказались в окружении.

– Расскажи, как вы воевали.

– Понимаешь, как тебе сказать... Это же надо все от и до: как мы оказались на передовой, как приняли первый бой, почему наш батальон оказался таким крепким орешком для немцев. Ну и так далее. Если в двух словах, то будет непонятно.

– А ты и расскажи поподробнее.

Старший лейтенант присел. Дождь все лил, не так сильно, как вначале, но все еще изрядно. С еловых лапников, закрывающих заднюю стенку шалаша, капало. Но вода уходила вниз под ветки, предназначенные для лежанок.

– Тебе, наверное, уже спать пора, я видел, как ты устала.

– Да, я, конечно, ухайдакалась крепко. Но стараюсь перетерпеть, не спать. В полночь сын проснется, потребует кормежки. Накормлю и завалюсь. А ты рассказывай. Времени, как видишь, у нас много.

– Хорошо. Наша дивизия начала формироваться за полтора года до начала войны в Пензенской области. Сюда я и получил назначение после окончания военного училища. Утвердили меня в должности командира стрелкового взвода, как и твоего мужа. Через два дня после 22 июня наша дивизия была направлена на фронт. Через пять дней мы уже подъезжали к Орше. Здесь нашему батальону повезло в первый раз. Головные эшелоны подверглись сильной бомбардировке с воздуха, а наш состав немцы или не заметили, или, скорее, у самолетов кончились бомбы. Но уже тогда я удивился: почему поезда двигаются днем, если вражеская авиация полностью господствует в воздухе? Короче говоря, нас, полностью уцелевших, высадили и поставили задачу – следовать пешедралом, севернее и западнее Орши занять оборону на обозначенном участке. Дело было к вечеру, и наш батальон двинулся вперед, безостановочно шел и всю ночь. Днем отсыпались в лесу. А вот другие части, наоборот, ночью спали, а днем шли. Тут их и накрывали немецкие самолеты. Черт знает что! Как можно действовать вопреки здравому смыслу! Ночью спать, а днем подставлять себя под бомбы. Сколько из-за этого погибло людей!

Старший лейтенант присел.

– Ты не представляешь, Маша, со сколькими глупостями и тупостями пришлось столкнуться в те дни... Дальше. Следующей ночью продолжаем идти, а навстречу отступающие части. Оказывается, немцы то ли уже подошли к Орше, то ли уже захватили ее. Наш комбат развернул батальон поперек дороги и послал двух мотоциклистов в тыл в штаб полка с донесением о положении дел. Кроме того, приказал всех отступающих приводить в чувство, направлять в ближайший лес и там формировать из них маршевые роты. Ты не поверишь, но таковых набралось почти 600 человек. Шесть рот! Комбат реквизирует также несколько десятков подвод и пять грузовиков – три полуторки и два ЗИС-5. Но главным приобретением стала батарея 76-миллиметровых противотанковых орудий. Это четыре пушки, очень серьезные, гроза для танков всех марок. Появление их стало вторым крупным везением для нашего батальона. Скажу больше, если бы не та батарея, очень скоро от нашей части осталось бы только мокрое место. Маша, ты не заснула? – старлей прилег.

– Нет, нет. Что было дальше?

– А дальше вернулись те два мотоциклиста с приказом командира полка – возвращаться обратно и севернее Орши перекрыть дорогу, ту самую, по которой мы шли две ночи. Перекрыть, окопаться, выбивать танки противника и стоять насмерть.

Николай опять привстал и снова с возмущением воскликнул:

– Да, приказ есть приказ, а как его выполнять, чем сражаться? У нас не было ни одного противотанкового орудия. Это просто случайность, везение, что реквизировали целую батарею. Ты не поверишь, но на одну винтовку у нас имелось только по тридцать патронов, на каждый пулемет – триста. А продовольствия вообще не было. Мы были банально голодны. Двое суток даже сухаря в рту не держали. А нам ведь предстояло топтать обратно еще километров сорок да держать оборону. Как можно так безответственно руководить военным делом!

Комвзвода снова прилег. Замолчал. Пауза затянулась.

– Коля, ты не заснул?

– Да нет, разве тут заснешь? Положение снова спас наш комбат. Он созвал всех командиров вплоть до комвзводов, обозначил обстановку. Приказал: выступить на восток с наступлением темноты; не дожидаясь ее, начштабу вместе с начальником саперов вдвоем выехать

на мотоциклах в указанное место обороны и определить выгодные рубежи; командиру моей роты и командиру противотанковой батареи тоже на мотоциклах, их у нас в батальоне было десять штук, – отправиться в том же направлении и примерно за пять-десять километров до нового рубежа наметить удобное место для засады. А командиру мотоциклетного отряда поручил направить в ту же сторону четырех мотоциклистов с задачей объехать все ближайшие углы и закоулки, прочесать все деревни и села и установить, где еще остался не угнанный колхозный скот, поискать склады с продовольствием, горючим и другими нужными вещами. Когда следующим утром батальон, еле стоя на ногах от ночного перехода, а главное, от голодухи, собирался спать в лесу, наша моторизованная разведка вернулась.

Николай привстал и радостно замахал руками:

– Нет, ты не представляешь, Маша, какие известия они привезли! Я как раз со своим взводом рядом стоял и все слышал. Мотоциклисты доложили, что во всех населенных пунктах вдоль главной дороги и еще в нескольких деревнях в стороне от нее в целости сохранились несколько сот колхозных коров, бычков и свиней. Но самое главное, недалеко от намеченного рубежа нашей обороны, километрах в десяти в стороне, в глухом лесу обнаружен армейский склад. Склад, Маша! Это было нашим спасеньем. Там потом обнаружили и продовольствие, и патроны, и горючее, и даже снаряды для наших противотанковых орудий.

Дождь не прекращался. Стук тяжелых капель о клеенку, наброшенную на шалаш, заглушал все другие лесные звуки.

– А здорово ты придумала насчет клеенки, – отвлекся от своего рассказа старший лейтенант. – Если бы не она, мы бы сейчас с тобой промокли до нитки.

– Клеенку дали хозяева дома, где мы с мужем снимали комнату. Спасибо им за это. Так чем всё кончилось?

– Сначала устроили немцам хорошую засаду: по два орудия и по две роты на каждую сторону дороги. Пропустили немецкую разведку – несколько мотоциклов и бронетранспортер и, когда появилась колонна танков, грузовиков с пехотой и артиллерией, открыли огонь. Уничтожили восемнадцать танков, два бронетранспортера, четыре орудия и около трехсот фашистов. Собственными глазами видел, как околевают эти твари. Но тут важны не только эти потери, но и время, выигранное нашим батальоном. Мы видели потом издали, как ихние самолеты бомбили место засады. Но наш след там давно простыл. Возможно, прежде чем двинуться дальше, немцы прочесывали тот лес и окрестности. А мы то время использовали для укрепления нашей обороны. Ширина ее по фронту была около двух километров. Слева тянулись сплошные болота, справа – густые леса на много километров на север. Позиция была выбрана очень удачно. Мы зарылись в землю, как кроты, понастроили ложные укрепления. Два орудия затащили в болото на крайнем левом фланге, остальные упрятали в лесу на правом фланге и, что важно, повсюду понатыкали фальшивые пушки, якобы замаскировав их. Только через два дня появились немцы. Уж как они, сволочи, долбили нас снарядами и бомбами, шли в атаку и дошли под нашим огнем. Снова долбили нас, а мы их снова убивали. И так продолжалось два дня подряд. Видно, им позарез нужна была эта дорога, которую мы перегородили. Но так они и не прошли! Мы подбили еще двадцать четыре танка и неизвестно сколько сотен солдат и офицеров. Но и наши ряды поредели. Основные потери мы несли от бомбежек и артиллерийских налетов. Словом, фашисты прекратили атаки и обстрелы. А назавтра обнаружилось, что они обошли наши позиции далеко слева и справа. Пришлось с боями выходить из окружения. Тогда меня и ранило.

– Выходит, можно бить немцев?

– Получается, так.

– Так почему же они уже под Смоленском?

– Не знаю. Можно, конечно, сказать, что другим частям не повезло, как нашему батальону. А нам везло, как я уже говорил, не раз. Нас не разбомбили на пути к фронту. Мы не

подохли с голоду, потому что обнаружили армейский склад и не угнанный колхозный скот. Мы совершенно случайно обзавелись батареей противотанковых орудий. Не будь этих совпадений, мы все погибли бы в первом же бою. Но черт побери! Нельзя же так воевать – с помощью везения-невезения!

– Конечно, главным нашим везением был комбат, – продолжал рассуждать Николай. – Он совершенно не был похож на других старших командиров. Он рассказал о себе как-то на одном из совещаний комсостава батальона. Из деревенских, но с четырехклассным образованием. В первую мировую войну сначала воевал рядовым, потом, после окончания специальных курсов, он унтер-офицер, командовал отделением пехоты. За храбрость получил георгиевский крест. Направили в школу прапорщиков, после которой стал командовать взводом. Во время гражданской войны на стороне красных был взводным, ротным, командиром батальона. После окончания гражданской войны учился сначала на рабфаке, потом в строительном институте. Его призвали в армию в конце 1939 года с должности управляющего крупным стройтрестом, приказали сформировать из новобранцев и таких зеленых выпускников военных училищ, как я, стрелковый батальон. И он выучил нас боевому делу.

– Интересно, как он мог вас, новичков, обучить, если он сам почти двадцать лет находился вне армии.

– В том-то и дело, что накануне войны в Вооруженных силах страны сложилась странная ситуация. Большинство командиров, имевших опыт участия в мировой и гражданской войнах, продолживших затем службу в Красной Армии, закончивших военные вузы и академии, оказались врагами народа и были расстреляны. Вместо них пришли люди, которые не нюхали пороха. Они умели маршировать, говорить по бумажкам речи, распевать в строю песни, но не ведали, как управлять современным боем. Не знали, и все. Конечно, это не мои наблюдения и не мой вывод. Чего понимал и понимаю я, вчерашний выпускник военного училища? Положение, сложившееся в Красной Армии, мне растолковал мой дядя, старший брат моей матери. Он воевал и в мировую войну, и в гражданскую, потом учился в военных вузах. Дядя служил в штабе военного округа, когда в 1936 году с ним случилось несчастье. Во время учений недалеко от него разорвался шальной снаряд, и осколком повредило ему позвоночник. Его парализовало почти полностью. Вот он-то, когда я в свой первый и последний отпуск побывал у него, он-то и просветил меня насчет состояния командного состава армии. При этом добавил, что если бы он не был комиссован из-за своей инвалидности, то его тоже наверняка бы расстреляли. А вот почему, дядя ни мне, ни сам себе не мог объяснить. Ему, а мне тем более совершенно непонятна подоплека массового уничтожения командного состава. Мы тут в лесу одни, и я откровенен с тобой, Маша. А наш комбат, фамилия его Докторов, хорош был как раз тем, что имел семилетний военный опыт. Когда он впервые собрал нас, батальонный состав, сказал, обращаясь к нам, вчерашним выпускникам военных училищ, чтобы мы забыли всё то, что изучали несколько лет.

– Почему? Имей в виду, что я жена красного командира. Поэтому мне интересно все это.

– Чему нас учили в училище? Маршировать и наступать. Кричать «ура». А наш майор учил нас прежде всего обороне. Учил, как зарываться в землю – рыть многорядные траншеи, ходы сообщения в полный рост, строить блиндажи, опорные пункты, сооружать ложные укрепления. Он договорился с соседней танковой частью, и много дней несколько танков шли на нас в атаку, переезжали наши траншеи, утюжили наши окопы. То есть учил нас привыкать к танкам и не бояться их, подрывать их с кормы противотанковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Ты не представляешь, Маша, как же это потом, в первом же бою, пригодилось. Мы слышали, что в некоторых частях бойцы при виде немецких танков просто разбегались. А мой, например, взвод их не боялся. Мы на своем учебном опыте знали, что танку нас не достать, если мы в траншее, а вот мы его можем достать той же гранатой.

– Лично тебе довелось подбить танк?

– Нет, а вот одному бойцу моего взвода, Петренко его фамилия, удалось забросить на корму танка бутылку с бензином. И все, танку крышка, он сгорел. Я все это к тому рассказываю, чтобы подчеркнуть мысль: людей надо учить воевать, а не просто надеть на них форму, дать в руки винтовку, несколько раз промаршировать, и – на фронт. Толку ноль, все полягут. А наш комбат, кроме того, придумал одно новшество, которое помогло многим нашим бойцам остаться в живых и дало возможность уничтожить немало немцев. Суть этого нововведения состоит в том, чтобы передний край обороны располагать не в виде прямой линии, а волнистой – выступами и впадинами, глубокими выступами и глубокими впадинами, до 30–40 метров длины каждая от осевой линии. Благодаря такой конфигурации наши стрелки ведут огонь по наступающему противнику не в лоб, а под углом. К тому же они дополнительно защищены сбоку кучками плотно утрамбованной земли. И теперь ты, Маша, представь себе бой. Идут немецкие танки, за ними пехота, и они – танки из пулеметов, солдаты из автоматов – ведут плотный непрерывный огонь, сплошное море свинца, головы не поднять – раскроит их сразу. А наши стрелки под углом к атакующим цепям, прикрытые сбоку брустверами, спокойно и прицельно стреляют по фашистам. Убитых и раненых у нас очень мало, а поле усеяно трупами врага. Мне кажется, немцы так и не разгадали причин своих больших потерь на участке обороны, который занимал наш батальон.

Снова наступило молчание. Дождь стал утихать.

– Что хочу сказать напоследок, Маша. Пример нашей части показывает, что можно успешно бить немцев, по крайней мере, не отступать. Что для этого нужно, на мой, конечно, взгляд? Такие командиры, как наш комбат майор Докторов. Нормальное снабжение – боеприпасами и продовольствием. Противотанковые средства. И связь. Наш батальон, когда отбивал атаки немцев, не имел никакой связи, – ни со штабом полка, ни с соседями справа и слева, от которых мы были отделены лесами и болотами. То есть сражались, как на необитаемом острове. Конечно, хотелось бы еще поддержку с воздуха или хотя бы хорошую противовоздушную оборону. Но это уже из области мечтаний. И когда в нашей армии будут созданы условия, которые я перечислил, тогда мы не только не будем отступать, но даже перейдем в наступление и разгромим врага.

– Я вижу, Николай, что ты человек культурный. Но если твои слова перевести на простецкий язык, то мы будем отступать до тех пор, пока в армии не прекратиться бардак, обычный советский бардак. Бардак, который принес столько горя, в том числе мне с Мишкой.

После небольшой паузы старший лейтенант сказал:

– Я хочу прорваться к своим, что бить дальше этих сволочей. Перед выходом из окружения наш комбат обратился к нам со следующими примерно словами: «Мы должны соединиться с нашими не только потому, чтобы не попасть в плен или остаться в живых. Мы должны снова встать в ряды Красной Армии уже как командиры и бойцы, имеющие хороший опыт битвы противника. Не прошли через нас немцы!»

Помолчали. Маша стала кормить сына. Когда собралась спать, старший лейтенант сказал ей:

– Знаешь, Маша, когда ты снова встретишься со своим мужем, с Василием, расскажи ему о нашей встрече. Передай ему, что ты самая красивая женщина, самая верная жена, самая любящая мать. Передай ему мои слова.

После долгой паузы она спросила:

– Ты женат?

– Нет, так и не нашел девушку по душе. Может быть, это даже хорошо. Одной вдовой и одной сиротой было бы меньше.

– Не надеешься выжить?

– Каждый надеется. Но война есть война.

Опять наступило молчание. Его прервал Николай:

– А может, завтра останешься? Сыро в лесу. Вся промокнешь.

– Нет-нет, пойду. Мне топать и топать. Впереди август. Он может быть холодным. Завтра пойду босиком – и по лесу, и по дороге. Не стану мочить ботинки. А на солнышке в поле высохну.

Дождь перестал. Лишь отдельные капли, падающие с листьев деревьев, стучали по кленке.

С глиной – против танков

Утром позавтракали плотно. Маша снова поела вареной картошки вволю. Для Николая приготовила картофельный суп, бросив туда последние молоденькие грибы, крапиву и остатки говяжьей тушёнки. Дала ему пригоршню черных сухарей, несколько щепоток грузинского чая, кулечек соли и треть куска хозяйственного мыла. При расставания старший лейтенант не знал, как себя вести. Ему очень хотелось крепко обнять ее и поцеловать прямо в губы, долго стоять вот так, не отпуская ее. Но он понимал, что негоже так выражать свои чувства замужней женщине. Он долго жал ее руку, благодарил и напоследок попросил подержать на своих руках Мишку. Взял его к себе и несколько раз подбросил в воздух, к вящему удовольствию малыша. Маша, уже с ранцем за плечами, поверх которого торчала голова сына, подошла к старшему лейтенанту, прижалась к его груди, постояла так с минуту, пожелала ему удачи и, ступая босыми ногами по мокрой траве, скрылась за деревьями.

Выйдя из леса, она повернула налево, пошла по дороге, в противоположную сторону от деревни. Проселок после долгого дождя превратился в сплошную грязь. Ноги утопали в ней выше щиколотки. Стало спокойнее от мысли, что в такую слякоть ни одна немецкая машина, даже танк не сунутся сюда. Раз так, решила она, можно топтать прямо по дороге, не хоронясь в лесу. Там, где картофельное поле заканчивалось, уже не таясь, накопила две сумки картошки. Определив, что проселок, хоть чуть и петляя, ведет ее на восток, Маша зашагала совсем уверенно. Слева стеной стоял лес, справа тянулись хиленькие хлебные поля. Они чередовались с посевами льна, клеверищами, сенокосами, выгонами для скота. Дорога иногда заворачивал в лес, долго тянулась среди дремучих елей и опять выходила на свет божий. Нигде не было видно ни людей, ни скота, ни немцев. Редкие деревни она обходила стороной, углубившись в лес. Шла, радуясь безлюдью. Ночевала подальше от дороги. Если встречалась речка, останавливалась на полдня, мылась, купала Мишку, стирала. Сильно огорчило неприятное открытие – появились вши. Видимо, они перекочевали к ним во время ночевки в шалаше. Маша держала детское и свое нижнее белье над костром, била одежду о деревья, тщательно перебирала волосики сына. Но они, паразиты, не исчезали. Томила постоянная усталость. Приходилось примерно через каждые полчаса сбрасывать ранец и валиться на землю – ноша для нее была слишком тяжела. Когда кончилась картошка, стало полегче идти, но уставала так же: скудость питания подтачивали ее силы; прежние запасы подходили к концу. Это заметно сказывалось на молоке, с каждым днем его становилось все меньше, сын уже наедался не всегда.

Так она прошагала еще два дня. Дорога подсохла. Надела ботинки. Идти стало легче. Исчезла грязь – это означало, что немцы могут объявиться в любой момент. Так и случилось. Далеко впереди послышался шум моторов. Спрятавшись за ели, увидела грузовики с солдатами. Дальше пошла лесом, не теряя из памяти проселок. На ночлег забиралась в самую чащобу. Еды становилось все меньше и меньше. Налегала на малину, землянику, грибы, давала ягоды сыну через тряпочку. На душе становилось все тревожнее и тревожнее. Но она шла, шла и шла. Шла, спотыкаясь о старые корни, переваливаясь через поваленные деревья, обходя буреломы и топи. Все время хотелось есть. Из старых запасов остались шматок сала, банка тушёнки, горсть сухарей, несколько кусков сахара-рафинада, немного гречки, перловки и гороха. И всё. Ела помалу – сэкономила. Поэтому, когда до нее донесся еле уловимый запах... кухни, она подумала, что ей померещилось. Маша в поисках безопасного места для ночлега забралась далеко в лес, и слабый мясной дух, пощекотавший ее ноздри, показался ей в этой глухомани предметом воображения на почве постоянного недоедания. Тем не менее ноги сами направились в ту сторону, откуда веяло мечтой. И действительно, в дальнем просвете между огромными елями увидела легкий, едва заметный дымок. Испугалась: «Немцы? Наши?» Убедившись, что сын спит, Маша осторожно пошла в сторону костра. За несколько метров до него

услышала русскую речь. Подойдя вплотную, сквозь еловые ветви Маша увидела на небольшой полянке пятерых военных, наших, обросших, сидящих вокруг слабого огня. На двух крупных рогатинах, воткнутых в землю, покоилась лошадиная или бычья нога с увесистым окороком, которую один из окруженцев время от времени переворачивал. Рядом с ними валялись оружие и вещмешки, в стороне находилась освежеванная полтуши. Трое, судя по кубикам на петлицах и портупелям, были командиры. Двое – рядовыми. Неподалеку высилась внушительная гора хворосту. Не спеша велся разговор. Кто-то из военных иногда вставал и ножом отрезал кусок мяса, отправляя его в рот. У Маши обильно потекли слюни. От запахов и увиденного у нее закружилась голова. Один из офицеров, дую на отрезанный кусок мяса, произнес:

– Эх, жалко нет соли.

– Я могу дать соли, – неожиданно для нее самой вырвалось у Маши.

Служивые вскочили на ноги. Рядовые бросились к винтовкам, остальные схватились за кобуры. Маша вышла из ельника. Мужики пооткрывали рты. Маша сняла со спины ранец, вытащила из своего спального мешка Мишку, деловито достала одеяло, расстелила у костра и положила на него ребенка. Пришедшие в себя ратные люди окружили ее, начались известные оханья – аханья, вопросы «откуда-куда». Лишь один догадался начать не с вопросов, а с приглашения, как он выразился, к столу. Маша достала соль. Все, как один, потянулись к пачке. Маше преподнесли солидный кусок мяса. Она едва сдерживала себя, чтобы не впитаться в него всеми зубами. Но унять дрожь в руках не смогла.

– Ну что, мать, проголодалась, видать? – дружелюбно заметил один из новых знакомых, подавая второй кусок. – Ешь, не стесняйся. Продукта этого еще хватит на всех, – он кивнул в сторону туши. – Вот подстрелили блудную коровку. И еще есть полмешка картошки.

Маша никак не реагировала на обращенные к ней разговоры. Она ела, лопала, трескала, уплетала, уписывала и просто пожирала мясо, свежее парное мясо, приготовленное на вертеле. И только когда наелась, осмотрелась вокруг, внимательно разглядывая каждого из сидящих вокруг затухающего костра. Разобралась в воинских званиях командиров – майор и два капитана. Два солдата хорошо различались между собой – один был рябой, другой рыжим. Все еще молча Маша полезла в свой ранец, вытащила оттуда кастрюльку побольше, пачку чая, мешочек с малиновыми листьями, вылила в кастрюльку воду из фляжки, спросила, есть ли поблизости ручей. Получив утвердительный ответ, опорожнила вторую фляжку, поставила кастрюльку на угли. Рябой подбросил хвороста. Обратилась ко всем со словами:

– Спасибо за хлеб-соль в смысле мяса. Я и вправду малость изголодалась. Еще раз спасибо. Ну а теперь отвечу на все ваши вопросы, – и она рассказала о себе, опустив историю с немцем-насилником и встречу с раненым командиром взвода.

Закипела вода в кастрюльке. Маша бросила туда заварки и малиновые листья. Разлили по кружкам. Военные пили чай с явным удовольствием.

– Сюда бы сейчас вареньице или меду, – мечтательно произнес рыжий.

– Я бы не отказался и от сахара вприкуску, – отозвался рябой. – Но пока чай хорош и вприглядку.

Маша снова залезла в ранец, вытащила оттуда маленький кусочек рафинада и протянула солдату со словами:

– Вот немного. Есть у меня еще, но для ребенка, когда он не наедается.

Рябой расплылся в улыбке.

Молча попили чай. В лесу стало совсем темно, хотя небо между елями еще светилось. Кто-то подбросил в костер хвороста, и вспыхнувшее пламя осветило бородастые лица.

– И куда вы держите путь? – спросила Маша.

– Кто куда, а кто на кудыкину гору, – весело ответил один из капитанов. – Я, например, на Украину, в Одессу. Вот и майор вроде бы присоединяется ко мне. Два наших бойца, – он кивнул на рыжего и рябого, – планируют засесть где-нибудь в глухой деревне и пригреться к

каким-нибудь бабенкам. А вот наш артиллерист идет на восток, к своим, – он показал рукой на другого капитана.

– А почему вы идете на Украину. Там же наверняка немцы.

– Потому, что немцы объявили: всех военнослужащих – украинцев, добровольно сдавшихся в плен, отпускают на все четыре стороны. Правда, товарищ майор не украинец, у него только фамилия украинская – Лысенко, но ничего, мы найдем ему невесту и погуляем на его свадьбе.

– Вы все из одной части?

– Нет, – ответил майор, – мы из разных воинских подразделений. Так сказать, разношерстная команда. Случайно встретились – соединились в ходе выхода из окружения. Правда, кое-кто не выходил, а выезжал, даже с комфортом, – он посмотрел на одессита. – Ну расскажи еще раз, капитан, как ты лихачил на немецком автомобиле. Честно скажу, не верю я в эту историю.

– Ты можешь верить или не верить, майор, – ответил капитан, – но ты должен же задаться вопросом, как я из Прибалтики оказался здесь, в Белоруссии. А я действительно добрался сюда на автомашине, – он посмотрел на Машу и заулыбался. – Сначала мы держали курс на восток, ближе к своим. Но ночью дорога незаметно повернула на юг, и мы вместо Пскова оказались под Полоцком.

– А как вы очутились на немецкой машине? – спросила Маша.

– Когда командир полка, в штабе которого я служил, отдал приказ о выходе из окружения мелкими группами, я взял шестерых бойцов из взвода охраны, и мы двинулись на восток. Через несколько дней ближе к вечеру увидели стоящий на обочине шоссе немецкий грузовик с открытым капотом. Возле него копошились двое, а еще две стояли неподалеку, курили. Решили так: как только мотор заведется, взгляд направо – налево, нет ли других машин, по моей команде стреляем, причем каждый из нас заранее выбирает для себя цель, чтобы после первых выстрелов никто из немцев не мог пикнуть. Так и сделали. Трупы в кусты, их гимнастерки на себя, пилотки – на свои головы, сами в машину, я за руль, и деру. Ночью ехали с зажженными фарами, никто нас не остановил, а под утро увидел немецкий указатель «Полоцк». Приехали! Но не туда. Словом, как я уже говорил, заблудились. Вместо Северо-Западного фронта, где я воевал в составе одиннадцатой армии, очутился в полосе Западного фронта. Завернул я машину в лес, привел ее в негодность, объяснил бойцам, что вышла ошибка. Сказал им, что иду на юг, в Черниговскую область, где якобы мои родичи, а вы как хотите. Приуныли мои солдатики, посовещались, постановили – идти на восток, к своим. На том и расстались.

– А вы всерьез верите, капитан, что немцы освободят вас как украинца? – спросил командир – артиллерист.

– А мне ничего не остается, как верить. Идти на восток бесполезно, не угнаться за немцами. Вот товарищ майор уже две недели выходит из минского котла и никак не догонит противника. Тащиться по направлению к линии фронта – рано или поздно попасть в плен. А я не хочу в плен, товарищ капитан, ну никак не хочется. Ну-ка, Косолапов, – он повернулся к рыжему солдату, – поведай еще раз, как ты побывал в плену. Некоторые не слышали твоего рассказа.

– Да что там говорить, – засмутился Косолапов, – три дня нас не кормили и даже не поили. Я думал, что умру без воды. Жара вона какая стоит. Ночью сбежал. Больше мочи не было терпеть. Да и то: чуть что не так – стреляют. При мне убили шестерых наших. Не за что, ни про что.

– А как вы в плен попали? – спросила Маша.

– Просто. Все комиссары и командиры, кроме взводных, разбежались. А что нам оставалось делать? Увидели немцев и подняли руки.

– Ну и вояки, – съязвил капитан-артиллерист. – Даже не сопротивлялись.

– А чего ради? – заметил рябой. – Если начальству не нужно, а нам что, больше всего надо?

– Есть еще желающие сдаться в плен? – одессит шутливо обвел глазами присутствующих.

– Но отсиживаться на оккупированной территории – тоже не большая доблесть, – заметил артиллерист.

– Нет, я тебе удивляюсь, капитан, – напал на него одессит. – Ты не нюхал пороху, не сделал по врагу ни одного выстрела, не знаешь, что наших бойцов родное начальство заставляет с голыми руками сражаться с танками. Ты не имеешь об этом никакого представления, так как находился в глубоком тылу, а все же, извиняюсь за грубость, вякаешь.

– Вы меня оскорбляете, капитан. Лично не моя вина, что не успел произвести ни одного выстрела. Я уже говорил, что батарея гаубичных орудий, которой я командовал, была разбомблена в первый же день нашего появления на позиции. Так что и в глубоком тылу, капитан, в избытке смерть и кровь. А что касается голых рук против танков, я с противотанковыми средствами борьбы плохо знаком.

– Могу назвать такое действенное средство, – весело заметил одессит. – Это глина.

– В каком смысле? – вмешался майор.

– В самом прямом: берешь в руки грязь и кидаешь в щели немецкого танка, когда он прет на тебя. Щели забиваются глиной, экипаж ничего не видит, и с танком можно делать, что угодно.

– Ну и чушь вы несете, – засмеялся артиллерист.

– Никакую не чушь. Точно таким советом в приказной форме одарило нас командование Северо-Западного фронта.

– Капитан, ты про меня не скажешь, что я не нюхал пороху, – снова заговорил майор. – То, что ты говоришь, на культурном языке называется дезинформация и клевета, а на другом языке – бред сивой кобылы.

– Значит, бред сивой кобылы? – одессит вскочил. – Согласен. Но это не мой бред. И не я сивая кобыла. Это плод мысли наших советских полководцев, в данном случае одного из них. Я имею в виду Ватутина, который вступил в должность начальника штаба Северо-Западного фронта 4 июля 1941 года. Оставаясь при этом, я хочу сие особо подчеркнуть, заместителем начальника Генерального штаба Красной армии.

Капитан сделал многозначительную паузу, обвел всех взглядом, прокашлялся, достал из внутреннего кармана бумажку, развернул ее и торжественным голосом заговорил:

– Выдержка из «Инструкции по борьбе с танками противника», которую подписал начальник штаба Северо-Западного фронта товарищ Ватутин. Цитирую. «Израсходовав гранаты и бутылки с горючей смесью, бойцы-истребители заготавливают грязь-глину, которой забрасывают смотровые щели танков.» Конец цитаты. Я специально записал, как правильно сказал товарищ наш майор, этот бред сивой кобылы, чтобы не забыть и, если останусь жив, передать своим потомкам – пусть они знают, кто командовал нами в этой войне.

Воцарилось гробовое молчание. Его нарушил Мишка. Маша и забыла о нем, вслушиваясь в напряженные разговоры окруженцев. Повернулась к сыну. Он, лежа на одеяле, весело болтал ножками и ручками. Маша передела его, затем подошла к осине, сломала длинную ветку, воткнула ее в середину затухающего костра, повесила на нее мокрое детское белье и, бросив всем: «Пойду покормлю», исчезла между деревьями.

Заговорил рябой:

– Не-ет, я за такую власть воевать не буду. И в плен не пойду, и линию фронта переходить не буду. Мы вот порешили с Косолаповым схорониться где-нибудь в дальней деревне, там и переждем войну. Посмотрим, чья возьмет – наша или немецкая. Нам, мужикам, все равно, на кого гнуть спину.

– Вы же присягу давали, черт вас побери! – возмутился артиллерист. – Хотите отлежаться на печи?

– Если вы такой правильный, товарищ капитан, то растолкуйте мне, почему я должен воевать за власть, которая наше прежде богатое село на Кубани превратило в нищий колхоз? Почему каждый десятый односельчанин, если не больше, был посажен, сослан, а четверо даже расстреляны? Почему у моих родителей десять лет назад отняли все – и землю, и скот, и хозяйственные постройки? И вы хотите, чтобы я подышал за эту чумовую власть?

Снова наступило молчание. Майор веткой ворошил угли. Одессит лежал, уставившись в темнеющее небо. Косолапов сидел на корточках и водил пальцем по траве. Снова заговорил артиллерист:

– Конечно, каждый делает свой выбор. Но я буду пробиваться к своим. В армии не хватает грамотных артиллеристов. А я потомственный артиллерист. Мой отец был пушкарем, мои дед и прадед были пушкарями. Я обязан выполнить свой воинский долг.

– Рассказать вам анекдот про советскую власть? – Маша услышала голос одессита. – Рабинович получил письмо из Америки от своей сестры. Та спрашивает, как там в Одессе жизнь при Советской власти. Он ей отвечает: «Жизнь у нас, как в автобусе: одна половина сидит, другая половина трясется.»

Майор засмеялся.

– Когда власть против людей, люди не горят желанием защищать такую власть, – добавил одессит. – Мы, офицеры, все изучали марксизм и любимую товарищем Сталиным диалектику. Так вот согласно ей, сейчас в стране и в армии сложилось такое положение, когда низы не хотят, а верхи не могут, просто не способны воевать с немцами. Вот такая у нас в высшей степени оригинальная власть.

– При чем тут власть, я спрашиваю, при чем тут власть, – неожиданно из-за елок появилась Маша с сыном на руках, прильнувшем к обнаженной груди. – А кто будет защищать моего ребенка, меня, ваших жен, детей, матерей? Разве в другие времена, когда недруги напали на наших предков, они что, защищали власть, царскую или какую, или прежде всего свой дом, своих детей, самих себя? Мне советская власть насолила не меньше, а может, быть и больше, чем некоторым из вас. Но для меня власть – не они, для власть – он, – она, оторвав от груди Мишку, подняла его над головой и снова прижала к себе. – Так почему эту главную мою власть пошел защищать мой муж Вася, а вы не хотите защищать своих же детей, жен и матерей? Ждете, когда немец доберется до вашего дома? Изнасилует ваших жен? Я немного пожила под немцами и знаю, что это такое, – она круто повернулась и скрылась за деревьями.

Все умолкли. И больше никто ни о чем не говорил. Так молча и легли спать ногами к костру, который медленно догорал. Среди них расположилась и Маша с сыном. Рано утром она накормила Мишку и снова заснула. Все пробудились поздно. Маша сразу взяла на себя роль хозяйки. Попросила разжечь костер, наполнить наполовину водой три каски, положить туда нарезанные куски мяса и поставить на огонь. А сама углубилась в лес, набрала подосиновиков и лисичек, а также крапивы. Побросала в каски еще картошки. Через часок еда была готова. Мужики пришли в неопишлемый восторг от чуда-супа. После завтрака Маша вымыла в ручье посуду, постирала все, что нуждалось в стирке, искупала сына, помылась сама. Предупредив остальных и захватив одеяло, вместе с Мишкой направилась к солнечной поляне, мимо которой она уже проходила и запомнила, разлеглась, поиграла с сыном и, когда он умолк, заснула сама.

Проснулась, когда солнце уже ушло за верхушки деревьев. Вернувшись в лагерь, сообщила, что завтра отправляется в дальнейший путь. Служивые известили ее, что завтра они тоже расходятся, кто куда. Совместно постановили: все, что останется от коровьей туши после ужина и завтрака, сварить и разделить между собой поровну. Попросили Машу сварить к вечеру такой

же, как утром, царский суп. Когда он был готов, перед едой капитан-одессит потер руками и мечтательно произнес:

– Вот сейчас бы по чарке, и можно спокойно умереть.

Маша вскочила, вынула из рюкзака четвертинку:

– Вот вам и чарка, товарищ капитан. В бутылке первач, горит. Разбавьте водой, как раз получится пол-литра.

Все, кроме Маши, достали свои кружки и разлили самогон. Выпили. Все, как по команде, закрыли в блаженстве глаза, наслаждаясь забытым вкусом водки. Маша сияла. А потом дружно навалились на чудо-суп. Разговор, оживленный и веселый, велся до самой глубокой ночи. И за весь этот долгий вечер ни слова не было сказано ни о войне, ни о смерти, ни о страданиях людей, в форме и без. Будто совсем недалеко отсюда не разворачивалось грозное смоленское сражение, не гибли люди, не умирали в пожарницах города и веси. Они сделали вид, что ничего не происходит вокруг, что собрались на пикник, обычный дружеский пикник, с чаркой, вкусной едой и красивой женщиной во главе.

Утром Маша сварила густую похлебку с картошкой и мясом. Прощались с грустью. Все без исключения норовили робко дотронуться до ее плеч или рук. Они столько дней не то что не касались, но даже не видели вблизи женщины. И хотелось, коснувшись, унести на память ее тепло и ласковый взгляд.

Уже после расставания, когда Маша, закинув за плечи ранец с Мишкой, попрощавшись со всеми еще раз, зашагала было в глубину леса, ее окликнул капитан-артиллерист:

– Я хотел бы, Маша, извиниться перед вами за то, что мы не будем сопровождать вас. Для вас мы не помощь, а только помеха. Если немцы застанут нас с вами, неизвестно, как дело обернется для вас. А одну, да еще с ребенком они могут не тронуть.

– Я поняла, товарищ капитан. А кто это вы? Вы же один собирались идти на восток.

– Видите ли, – засмутился артиллерист, – не знаю даже, то ли после ваших упреков, то ли по другим причинам, но майор с Косолаповым надумали присоединиться ко мне.

Снова в пути. Тактика движения была прежней: шагать по дороге; если впереди показывались немецкие машины, поворачивать в чащобу; если обнаруживалась деревня, обходить ее; при малейшей усталости отдыхать. Так прошло еще два дня. Еда кончилась полностью. Осталось несколько сухарей и два куска сахара. От вареного мяса, полученного при расставании с окруженцами, сохранились одни воспоминания. Колхозные картофельные поля больше не встречались. А воровать у людей на приусадебных участках было совестно. Отловила несколько лягушек, поймала в одном ручье половину маленькой кастрюльки пескаррей, но в основном держалась на грибах. Однако от такой хилой пищи молока заметно поубавилось. Мишка опять стал не наедаться. Ее охватывала тревога.

И тут кончилась ее дорога. Она уперлась в достаточно крупное село. Маша обошла его стороной, с тем чтобы, как всегда, снова ступить на проселок. Но за окраиной простиралась пустошь, где паслось несколько коров и коз, и далее виднелся лес. От села большак шел на юг. Это было ей не по пути. Решила рискнуть и постучаться в крайнюю избу – расспросить дорогу и, если хватит духу (а куда деваться!), поклониться насчет картошки. Открыла незапертую калитку, подошла к крыльцу. С одной стороны двора находился хлев, с другой – дровяной сарай. Постучала в дверь, никто не откликнулся. Забарабанила в окно. Откуда-то из глубины избы послушались неясные звуки. За стеклом обозначилось лицо старухи. Оно недолго разглядывало Машу и исчезло. Скрипнула дверь, и на крыльце появилась хозяйка, старая, седая, босая. Маша стала объяснять ей, кто она, откуда и куда идет, малость заплутала и не знает, где Смоленск и где Москва.

– И! – всплеснула руками старуха. – Смоленск ты давно прошла стороной, он остался там, – она показала на юго-запад. – А Москва тама. – она повернулась в сторону выгона и чернеющего за ним леса. – Ежели по прямой. Но путей туда нет. Надо идти сначала по той

дороге, – показала на южный большак, – потом верст через двадцать повернуть налево, и далее ты выйдешь на Минское шоссе. Но там, говорят, немцы, стреляют, из пушек бабахают. Они уже в Смоленске.

Маша поняла – ей надо будет идти напрямую через лес. Такой вариант ее в общем-то устраивал – и путь короче, и безлюдней. Но как быть с едой?

– А немцы здесь были? – спросила она.

– Были днями. Приехали со стороны Смоленска. Часть ухала туда, – старуха показала на север. – Другие повернули туда, откуда ты пришла. Сказывали, вылавливали наших красноармейцев. А когда пошли дожди, они с наших мест пропали. В селе нет германцев.

Старуха оглядела Машу с ног до головы.

– Да, издалека идешь, милая. И впереди путь у тебя не близкий, – покачала головой. – Молоко есть?

– Есть, бабушка. Да только маловато стало его. Сама плохо емши, стало быть, и молока меньше.

– Господи, старая, кормлю разговорами, – встrepенулась она. – Кислых щей отведаешь?

– Не откажусь, бабушка, – рот Маши наполнился слюной.

Хозяйка проворно побросала в летний очаг хвороста, взятого из большой кучи, разожгла огонь, из дому принесла чугунок со щами, поставила на плиту, села на крыльцо. Маша стащила с себя ранец, вытащила спящего Мишку, расстелила на крыльце рядом с хозяйкой одеяло и положила на него сына. Пока она ела пустые щи, которые ей показались верхом кулинарии, хозяйка делилась с ней своими горестями и заботами:

– Вот и двух моих сынов забрали в армию, – вздохнула она. – Они здесь же, только в разных концах села жили, со своими детишками, значится, моими внуками. У одного двое, у другого трое ребят. А насчет моих зятьев не знаю. Одна дочь – в Дорогобуже, другая – в Смоленске. Повезло – выбрались в город. Да вот война.

– А где ваш муж?

– Представился. В этом мае. Успели мы с ним картошку посадить. Видно, чуюло у него сердце: настоял, чтобы побольше посадить. Я говорила ему, зачем столько. А он: «Запас карман не тянет.» Как в воду глядел – война.

– Вкусно, как же вкусно, бабушка! – поблагодарила ее Маша, отодвигая от себя опустевший чугунок. Лицо ее покраснелось, лоб покрылся испариной. Разомлела. Появилось неистребимое желание лечь рядом с сыном и заснуть. «Боже мой, – подумала она про себя, – так обожраться.» Хозяйка, будто отгадав ее желание, предложила:

– Знаешь что, дочка, оставайся ночевать. Все равно давно за полдень. Картошки накопай себе на дорожку. Молочка попьешь. Постираешься. Дите и себя помоешь.

От радости Маша лишилась дара речи. Растерявшись, вместо благодарности брякнула:

– Я бы не прочь, но у меня вши, бабушка.

– А ты на сеновале. Хорошо там. Ночи еще теплые.

Не откладывая, Маша взялась за работу. Пока хозяйка возилась с проснувшимся сыном, она поставила на огонь бадью с водой, набрав ее из колодца, постиралась, помылась за сараем, искупала Мишку. Пользуясь случаем, прокипятила свое и детское белье, даже свои брюки. «Боже, – думала она, – еще одно везение. Все-таки, наверное, я в рубашке родилась.» На ужин была вареная картошка в мундире с квашеной прошлогодней капустой. Она оказалась изрядно заплесневелой, но все равно чертовски вкусной. Запивали эту роскошь парным молоком: хозяйка держала корову.

– Когда здесь были немцы, они не шарили по хлевам? – спросила Маша.

– У меня нет, я на окраине. А тех, что у дороги, пощипали. У кого курей поцапали, а у кого хуже – кабанчиков. Если немец отнимет у меня корову, тогда помирай. На одной картошке ноги можно протянуть.

– А колхозное стадо сохранилось?

– Один к одному. Немцы так быстро объявились, что начальство не успело угнать скот. Ну а мы-то, дураки, обрадовались. Собрались на сход и стали делить живность общественную. Спорили – спорили, какой меркой пользоваться при дележе, так ничего и не придумали. День препирались, второй, а тут – глянь! – немцы. Снова собрали нас и через толмача объявляют: дескать, колхоз сохраняется, за каждую пропавшую скотину расстрел, за каждую скошенную копну ржи – расстрел, за что-то еще – тоже расстрел. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Получается: что советская власть, что немецкая – два сапога пара. И та и другая за колхозы. Значит, опять нам бедовать.

Спалось на сеновале хорошо. Рядом чавкала и вздыхала корова. Вспомнилось раннее детство. На душе у Маши снова стало легко и спокойно. Все-таки мир не без добрых людей. Господи, сколько же еще ей идти?

Утром снова поели вареной картошкой с молоком. Накопала ее столько, сколько могла унести. Правда, она оставалась все еще мелкой. Но и на этом огромное спасибо бабушке. Хозяйка сварила ей на дорогу десять яиц. Дала три ржаных сухаря. Сказала, что мука кончилась совсем. Растроганная Маша разрежала предпоследний непочатый кусок хозяйственного мыла пополам, одну половинку отдала старухе. Поделилась солью и чаем. Тетя Нюра, так ее звали, не скрывала своей радости от таких скромных, но крайне необходимых в доме подарков. Расставались, как близкие родственники. Было раннее утро, солнце только-только выглянуло из-за леса. Туда, на восток, вновь загруженная картошкой под завязку, Маша двинулась к лесу напрямик через выгон, полная надежд на благополучный исход.

На нейтральной полосе цветы – необычайной красоты

Лес, через который пробиралась Маша, оказался высоким, густым, с плотным подлеском. Приходилось часто просто продирается через ельники и кустарники. А огромные деревья, вырванные с корнем, она обходила. Было все настолько первозданно, сумрачно и дико, что создавалось впечатление, что сюда еще не ступала нога человека. Зато в изобилии водились грибы, даже белые. Окончательно прохудились ботинки. В нескольких местах порвались брюки и куртка. Господи! Сколько же еще идти? Неожиданно вышла к железной дороге, она тянулась с юга на север. На путях – никого. Рельсы даже успели чуть заржаветь. И к концу того же дня оказалась, судя по всему, на Минском шоссе. Оно было довольно оживленным. Автомашины с солдатами и грузом непрерывно двигались, как она выяснила у случайных встречных, в сторону Ярцева, пустые грузовики – обратно. Перешла эту шумную дорогу и снова углубилась в лес. Переночевала.

А еще через день услышала долгожданное – еле слышный гул, похожий на гром: фронт. Радоваться или страшиться? По крайней мере, для нее заканчивалась неопределенность. Теперь она знала точно, что конец пути близок. Удачный ли он будет или нет, время покажет. А теперь – вперед! И настал час, когда недалеко от нее разорвался снаряд. Еще ближе, и она услышала шум моторов. Еще десятки шагов, и меж деревьев – просвет. Раздвинула ветки – лес кончился. Вдоль опушки с юга на север тянулась грунтовая дорога. По ней, поднимая тучи пыли, изредка двигались автомобили и повозки, шла колонна солдат. За проселком – обширный пустырь, который простирался до следующего леса. Выждав, когда дорога опустела, Маша пересекла ее и, пригибаясь, растворилась в высоком бурьяне и зарослях кустарника. Снова очутилась в лесу. Пройдя километра три, опять вышла на опушку. И обомлела. В метрах ста от нее увидела минометную батарею. Собственно, она понятия не имела, что такое минометы. Она лицезрела лишь какие-то короткие трубы, устремленные вверх, немцев, сидящих на брустверах, ходы сообщения. Дальше за всем этим военным хозяйством виднелся лес. Слева, метрах в трехстах от себя, заметила мелкий березняк. Он соединял чащу, где находилась Маша, с тем дальним лесом. Солнце вот-вот должно было скрыться за горизонтом. Она направилась к мелколесью и через него вышла к следующему лесному массиву. Пересекла его и увидела то, что предстояло ей преодолеть, – линию фронта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.